

Павлос Матесис

Пёсья мать



Павлос Матесис
Пёсья мать
Серия «Библиотека
новогреческой литературы»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=49867754

Пёсья мать:
ISBN 978-5-907189-62-1

Аннотация

Действие романа разворачивается во время оккупации Греции немецкими и итальянскими войсками в провинциальном городке Бастион. Главная героиня книги – девушка Рарау. Еще до оккупации ее отец ушел на Албанский фронт, оставив жену и троих детей – Рарау и двух ее братьев. В стране начинается голод, и, чтобы спасти детей, мать Рарау становится любовницей итальянского офицера. С освобождением страны всех женщин и семьи, которые принимали у себя в домах врагов родины, записывают в предатели и провозят по всему городу в грузовике в знак публичного унижения. Рарау становится свидетельницей ужасной расправы над матерью и проходит весь этот путь вместе с ней.

Содержание

Пёсья мать

4

Конец ознакомительного фрагмента.

78

П. Матесис

Пёсья мать

Пёсья мать

Лучше зови меня Рарау.

Вообще-то, я крещена как Рубини, а Рарау меня прозвали, когда я начала играть в театре, и именно под этим именем я стала тем, кем стала, а в полисе медицинского страхования добавила «Мадемуазель Рарау, актриса», так напишут и на моей могиле. Рубини больше нет. Я вычеркнула ее из своей жизни. А про фамилию так вообще молчу – Мескари.

Я родилась в Бастионе. Тоже столица, хоть и провинциальная. Я уехала в пятнадцать лет вместе с матерью и тремя ломтями хлеба, спустя пару месяцев после того, как мать выволокли на публичное поношение, когда еще ликовали в честь так называемого освобождения. И я никогда туда не вернусь. И моя мать никогда туда не вернется. Я похоронила ее здесь, в Афинах, – единственная роскошь, о которой она меня попросила. Таковы были ее последняя воля и желание: «Дочь моя, когда умру, прошу лишь об одной роскоши: похорони меня здесь. Я никогда не вернусь туда. (Она никогда не произносила слова «Бастион», хотя и родилась там). Я никогда ни о чем не просила. Постарайся купить мне склеп,

чтобы туда не вернулись даже мои кости».

И вот так я купила место на кладбище, не бог весть какое, конечно. Время от времени я прихожу к ней. Приношу в подарок какой-нибудь цветок, шоколадку, немного сбрызгиваю своими духами – специально, потому что, сколько себя помню, она не позволяла мне душиться, считала это роскошью грешников. Один раз за всю жизнь я пользовалась духами, говорила она, в день свадьбы. Теперь я сбрызгиваю духами ее могилу, и если может, то пусть возмущается. А шоколад приношу, потому что, по ее словам, все четыре года оккупации у нее была лишь одна мечта: в одиночку съесть целую плитку. После оккупации она хлебнула горя сполна и с тех пор больше никогда не мечтала о шоколаде.

У меня есть своя квартирка (две комнаты и прихожая), пенсия, как и полагается дочери героя, павшего в Албании; скоро выйду на пенсию за выслугу лет и актерскую службу; и в общем и целом, я девушка счастливая и везучая. Не о ком мне больше заботиться, некого любить или хоронить, у меня есть граммофон и пластинки, в основном с песнями коммунистов. Сама я монархистка, но обожаю революционные песни. К счастью, я счастлива.

Мой отец по профессии был свежевальщиком, но мы старались это не афишировать. Он ходил на скотобойни, брал кишки, каждую промывал и выворачивал, чтобы сделать гардубу¹. Я помню его совсем молодым, лет двадцати четырех, –

¹ Гардуба – запеченные плетеные бараньи кишки. (Здесь и далее в романе –

по свадебной фотографии 1932 года; личных воспоминаний практически не осталось. В 1940-м он ушел солдатом на албанский фронт. Детей нас было трое: я и два моих брата; один из них, старший, думаю, до сих пор еще живет где-нибудь.

Я помню отца только в день мобилизации, когда мы с матерью провожали его. Мы шли на станцию, он шагал впереди, потому что спешил, боясь опоздать на поезд, а мать – сзади: она много плакала, никого не стыдясь, и, помню, тащила меня за собой. Помню, как он сидел в вагоне: он уходил на войну, а у нас не оставалось ничего, кроме медной монеты в двадцать драхм. Мать пыталась ему всучить ее, но он и слушать не хотел. Потом, когда он уже был в поезде, она бросила монету в окно, он заплакал, выругал ее и бросил монету обратно, мать подняла ее с земли и бросила с размаху, другие новобранцы засмеялись, монета упала на пол вагона, и тогда мать потянула меня, и мы побежали прочь, чтобы отец не успел вновь бросить монету обратно. Он ее взял или схватили другие – так мы и не узнали. Это был последний раз, когда я видела отца молодым, видела его лицо. Так я помню лишь его изогнутую спину, скрюченную над тазом с кишками. Так что, каков он был собой, я помню только по той свадебной фотографии. Мертвых и пропавших без вести, тех, кто уходит из моей жизни, я забываю, – точнее, забываю, как они выглядят. Знаю только, что их нет. Даже свою мать я забыла.

Ей было уже за семьдесят пять, когда она умерла, но, наверное, мне так и не довелось рассмотреть ее, и потому и с ней у меня связь через свадебную фотографию, когда она была двадцатитрехлетней девушкой, на сорок лет младше меня. И потому мне больше не стыдно приносить ей шоколадки, ведь теперь она мне как дочь, я имею в виду по возрасту.

И все же спасибо Албании, благодаря которой я получаю пенсию. И плевать, что в итоге мы проиграли. Нам это не впервой. Я и националистка, и монархистка, но пенсия – дело другое. Я сиротка.

После отъезда отца на войну вместе с двадцатидрахмовой монетой мы вернулись домой, прибрались, купили в долг хлеба, и мать тут же пошла работать: нанялась в одну семью домработницей, а по вечерам шила – у нее была ручная швейная машинка. Нет, она не была профессиональной швейей, так, шила всякие рубашечки, распашонки, детские вещи, помогала на похоронах, умела обряжать в саван. Время от времени к нам приходили новости с фронта: всё в порядке, целую вас. Ему отвечала я; я тогда оканчивала начальную школу, а мама никогда в школу не ходила. «Дорогой Диомидис, с детьми все хорошо я работаю не волнуйся и береги здоровье шлю тебе поцелуи через нашу дочь Рубини твоя жена Мескари Асимины».

Мне не давала покоя мысль, что письма отца пахли кишками и потрохами, поэтому я потом никак не могла заставить себя съесть суп из рубца, мне казалось, что он пахнет

человечиной, то же происходило с магирицей² в ночь Великой Субботы, хотя я и очень верующая. В прошлом году надо мной смеялся импресарио: что мне с тобой делать в ревю, Рарау, там мат-перемат, а ты – святоша.

Святоша-святошей, но мужчины меня всегда хотели. Да и сейчас хотят.

У этого импресарио в трусы всегда был подложен поролон, чтобы его достоинство казалось внушительнее. И в плавках у него был поролон, когда на гастролях мы ходили купаться. Все в труппе об этом знали, некоторые его лапали, якобы с сексуальным подтекстом, но на самом деле, чтобы вывести на чистую воду. Однако ту, что по глупости своей выкидывала такой номер, на гастроли он больше не брал. Так случилось со мной. Потому что когда он стал меня поносить на чем свет стоит: да вертел я твоего Христа и Богородицу и мать, что тебя из дома выперла на..! Я ему бросила: На чем? На поролоне? За это он мне пару раз крепко врезал, ну и черт с ним. Бей сколько хочешь, сказала я, тебе это клеймо ни в жизнь не смыть. Как родился с тремя сантиметрами, так и помрешь! Эту часть тела никакой пластической хирургией не исправишь, так что бей себе, сколько влезет.

Мой отец хотя и был худющий и волосатый, но с этим делом у него все было в порядке. Видите ли, у нас дома была всего одна комната, без перегородок и с туалетом на улице, и вот однажды я увидела его голым, когда он менял под-

² *Магирица* – греческий пасхальный суп из бараньих кишок.

штанники, и, по правде говоря, я очень возгордилась, сама тогда не зная почему. Мой старший брат не очень ладил с отцом, совсем еще пацан, он вечно спорил с ним, а однажды отец сам начал разговор, он редко разговаривал, когда возвращался домой, – только выходил на задний дворик и промывал желудки (по вечерам он часто брал работу домой). А мой брат набросал в миску с промытыми желудками земли и говорит ему: да ты, да ты не мужчина вообще! И это ребенок-то тринадцати лет. И тогда заговорил отец, сказал: ты мне не сын, – а ты мне не отец, свежевальщик, ответил Сотирис, мой брат. Тогда найди другого, – бросил отец и вошел в дом. Следом за ним и Сотирис, открыл окно и начал кричать вслед каждому прохожему: отец, отец! Мать захлопнула окно, вышла на улицу и снова промыла желудки от земли. Вот, все готово, сказала она отцу, и тот закинул их на плечо и ушел, отнес в ресторан «Фонтан». Мать вытерла руки, накрыла наволочкой швейную машинку и ушла: ей нужно было помочь с подготовкой похорон для одной соседки. Следы тут за всем и, когда отец вернется, смотри, чтобы опять не разругались, наказала она мне. И когда он воротился, все сидел на насыпи во дворе и вроде бы курил. Идите в дом, папа, ушел Сотирис, сказала я ему. Так он и сделал, потом с работы вернулась мать и принесла нам печенье: у них сейчас траур, нельзя, чтобы дома было сладкое, сказала она. Мы съели печенье, а мать снова ушла, будем читать по ней Псалтырь, сказала она отцу, пойду сварю всем кофе, а вы ложитесь.

теть спать.

Мой брат Сотирис по вечерам ошивался около одного притона, назывался он «Бордель Мандилы», он был самый приличный из тех трех, что были у нас в Бастионе. Я уже тогда знала, что такое бордель и чем там занимаются. Но внутри я побывала позднее, во время оккупации, мне было тогда лет тринадцать: меня туда отправил с поручением один итальянец, и я не увидела там ничего непристойного, мне там даже дали денег.

Ходить к проституткам мне довелось еще один раз, немного позднее. Меня послал приходской священник, отец Динос из церкви Святой Кириакии (мы жили прямо за храмом). Священник каждое утро приходил в одно и то же время, как по часам, в половину седьмого, – он у нас был вместо будильника. Он приходил ровно в половину седьмого, обходил алтарную часть и справлял нужду за церковью, а потом заходил вовнутрь. А мать кричала: отец Динос уже помочился, вставайте, пора в школу. Потому что часов у нас в доме не водилось. И вот так мы и успевали на занятия, а если опаздывали, получали от учительницы пять ударов линейкой по ладоням. И вот однажды во время оккупации, когда мы побили всевозможные рекорды (двадцать семь дней без хлеба кряду, одна только трава, и нам даже стало любопытно, сколько еще мы сможем так выдержать), на двадцать шестой день отец Динос позвал меня и сказал: ты очень хорошая девочка, выполни одно мое поручение, но никому ни

слова. Он завел меня в церковь, а потом в алтарь, я знала, что женщинам там находиться нельзя, не бойся, заходи, сказал мне отец Динос, ты еще создание невинное. Он вложил мне в руки большую просфору (тогда их называли просвира), завернутую в расшитое полотенце. Я попыталась отказаться, лучше сама продамся, а милостыней вас кормить не стану, говорила мать. Однако священник настаивал. Знаешь, говорит, ресторан «Фонтан»? Я знала, сейчас немцы из него сделали что-то вроде столовой. Пойдешь туда, говорит, спросишь мадам Риту, отдашь ей это, скажи, что это от отца Диноса, она знает. И, видимо, потому что я глупо вытаращилась на него, он сказал, что это бедная женщина и мы должны ей помочь. А полотенце принеси обратно, это попадьи. Ну все, иди. И смотри, как бы у тебя ничего не отобрали по дороге.

Я знала, что мадам Рита была в Бастионе первой и самой дорогой продажной женщиной, она работала в элитном доме, куда ходили и немцы. Это была богатая и высокая дама. И пока я шла, все мои мысли занимал будущий ужас, ведь впервые мне предстояло увидеть немца так близко, и так мне было страшно, что я даже не обращала внимания на запах хрустящей белоснежной просфоры. Все боялись завоевателей немцев, потому что они ни с кем не разговаривали. К итальянцам относились несколько лучше, так как они смеялись, заигрывали с женщинами и бросали детям булочки, которые называли ржаниками. И как только я дошла до «Фонтана», коленки у меня так и задрожали. Хотя, может, это бы-

ло и от голода, мать не разрешала нам лишний раз ходить просто так без дела. С каждым шагом сжигается одна калория, говорила она (выучила слово), с каждым шагом вы всё ближе к смерти.

Ну так вот, захожу я в «Фонтан», кругом одни немцы, все ели, и на меня всем было начихать, подошел официант-грек и спросил: что ты здесь потеряла, девочка? (От голода я вся сморщилась, представьте, даже месячные у меня начались только в семнадцать лет.) Я спросила мадам Риту. Официант пренебрежительно рассмеялся и крикнул: эй, Рита, опять тебе гостинец от попа. И тут из-за столика поднялась величавая женщина, сама любезность и доброта: что такое, птичка моя, пропела она. Я отдала ей записку и просфору. А, это от батюшки, говорит она мне. Ты ж мое золотце. И поцеловала. Это была прекрасная женщина и будто бы счастливая. Она взрослая, подумалось мне. Взрослая, конечно, она была для меня тринадцатилетней, сейчас-то я понимаю, что ей от силы было двадцать шесть лет. В любом случае я была очень рада, что познакомилась с ней, будто бы меня признали в обществе. Так я была рада, что не удержалась и рассказала матери, хотя священник и строго-настрого запретил мне говорить об этом любой живой душе. Во время оккупации мама сидела дома, тогда ни для кого не было работы, домработниц в Бастионе держали только два-три дома, а что до шитья, то кому нужна была детская одежда да распашонки? Саваны больше не шили, хоронили как попало: во что последнее

были одеты – так в гроб и клали. Хотя читать Псалтырь по умершим мама ходила – из вежливости, несмотря на то что домой возвращалась уже на рассвете: а с семи вечера выходить на улицу запрещалось.

И как только я рассказала ей про мадам Риту, мама дала мне пощечину. Ты должна была принести хлеб сюда, сказала она. Впервые она заставляла меня послушаться, да при том кого – священника. Я расплакалась из-за этого, а еще из-за того, что на улице было жутко холодно. Мама сидела за шитьем и, чтобы утешить, заставила меня помогать ей. Она распарывала наш флаг. Мы его вывесили в тот день, когда отец ушел на фронт, и в день, когда наше войско взяло город, кажется, Карицу. Сейчас, в оккупацию, флаг был вещью не только бесполезной, но и опасной, если бы к нам пришли с обыском. Все дома обыскивали грек-переводчик и два немца. Поначалу отправляли итальянцев, но, так как те разговаривали с оккупированными, немцы сняли их с этой работы. В наш дом с досмотром никогда не приходили, и я считала это таким общественным унижением. Как бы то ни было, раз уж мы заговорили о флаге, сама я с тех пор никогда в доме флаг не держала, хоть я и националистка, но в упор не понимаю, какой от него прок, он нам пригодился во время пары-тройки театральных представлений, и то только в некоторых номерах.

Мы распарывали флаг вместе с мамой. К счастью, он был большой, помню, его как-то давно принес отец, один мяс-

ник обанкротился и не заплатил ему за три дня работы. И тогда отец конфисковал у него флаг и весы, их тогда называли «безмен», такие, где товар для взвешивания нужно подвесить на крючочек. Конфисковать что-то еще отец не успел, другие его опередили, в лавке остались только флаг да весы. И когда мы повесили флаг на двадцать восьмое октября³, когда ушел мой отец, флаг закрыл почти весь фасад нашего дома, я вспомнила тогда одну патриотическую песню, которую мы учили еще в школе: «Накрой, матушка, накрой, дочь голубоглазая»⁴. Хорошо, что мать вспомнила про флаг. Сначала мы его использовали как простыню. А теперь распорол. Мама его раскроила и сделала нам всем четыре пары маечек и по двое трусов. Помню, на моих прямо посередке попался кусок с крестом, у матери рука не поднялась его распороть, – и вот так и носила я бело-голубые трусы, а крест, изображенный на флаге, врезался мне прямо в промежность. Как бы то ни было, в таком белье мы проходили всю зиму. Так что не грозила нам опасность, что в доме найдут флаг – вещь, связанную с Соппротивлением, даже если бы и устроили у нас досмотр. Хотя я на это уже и не надеялась. Но отец Динос однажды увидел наше нижнее белье, развешенное на прищепках за собором, и все понял. Как у тебя сердце-то вы-

³ Государственный праздник Греции и республики Кипр, известный как День Охи. Это день, когда Греция сказала свое «нет» (греч. Охи) итальянской оккупации во время Второй мировой войны.

⁴ Слово «флаг» в греческом языке женского рода.

держало, голубушка, спросил он у нашей матери. А она ему: и Ригас Фереос⁵ бы то же самое сделал, если бы у него дети голышом ходили. И поп больше никогда не заводил разговор про наше исподнее.

Нет, власти-таки приходили к нам в дом. Но еще до оккупации, когда мы воевали с итальянцами на территории Албании. Через пять месяцев после того, как отец ушел на фронт, письма прекратились. Мать посылала меня к соседям, у которых был радиоприемник: вдруг услышу имя отца в списках погибших. Радиоприемник тогда был, самое большое, в десяти домах в Бастионе, у богатых. Эти наши соседи были семья актеров, их называли семья Тиритомба⁶, потому что у нас в городе они играли ревю с таким названием. Родом они были из Бастиона, потом случайно оказались тут на гастролях, их застала война и так они в Бастионе и остались, хорошие люди, особенно мадемуазель Саломея, свояченица хозяина труппы. В Бастионе у них был собственный дом, доставшийся по наследству, о них самих я расскажу потом, а этот дом стоит и по сей день, его не снесли, по-видимому, просто-напросто забыли продать, недавно сказала мне мадемуазель Беба – жена певчего, она еще жива и приезжает в Афины красить свой парик.

⁵ *Ригас Фереос* (ок. 1757–1798) – греческий революционный поэт и национальный герой.

⁶ Неаполитанская песня, написана в XVIII в. Значение слова «*Тиритомба*» до сих пор неизвестно.

Мы просили мадемуазель Саломею слушать список погибших, чтобы мне не идти самой и не терять зря время. Еще мы ходили в жандармерию и в номархию, – может, там что скажут, чтобы мы могли уже надеть черное и повесить на дверь траурный венок. Но имя моего отца никогда не появлялось в списках; не волнуйтесь, сказала нам мадемуазель Саломея, если с ним случится что-то непоправимое, власти вас оповестят и медаль дадут.

Так что черные ленты на занавески мы не вешали.

Однажды к нам в дом пришел жандарм и еще один тип в гражданском, всё спрашивали маму о новостях с фронта и каких убеждений придерживался отец. Мы показали все пришедшие почтовые открытки – что еще нам было показывать? Они сказали, что он уже месяц как в самоволке.

Об этом узнала моя бабушка, приперлась к нам и чуть ли не выцарапала матери глаза из-за того, что мы не повесили траур. Она надела черное (это во время оккупации-то!), а однажды, когда скопила немного крупы, даже сделала по нем коливо⁷, тогда мы называли его «сочиво», и послала нам одну тарелку, мы ели ее два дня.

Но все же траур мы не надели.

Если государство мне не прикажет, я по нему траур носить не буду, к тому же не к добру это, говорила мать. Уже многим позднее, после освобождения, когда нам пришла государственная бумага, что Мескарис Диомидис, мой отец, счи-

⁷ *Коливо* – поминальное блюдо в православной церкви.

тается без вести пропавшим и павшим на поле боя, а его семье полагается пенсия, надевать траур было уже неуместно: прошел положенный церковью срок. Вот эту пенсию я сейчас и получаю, хотя, конечно, выплачивать нам ее стали гораздо позднее, когда мы уже раз и навсегда покинули Бастион.

Эти двое были первыми официальными лицами, которые перешагнули порог нашего дома. Позднее, в конце первого года оккупации, наконец к нам пришли с досмотром и искали оружие, на этот раз итальянцы. Обшарили комод, затем осмотрели пол, хотя какой уж там пол, стоптанная земля – вот и весь наш дом, а один итальянец все смотрел на мою мать: меня, говорит, зовут Альфио, приходите ко мне в казарму. На вид он был человеком очень хозяйственным и скромным. Эту фразу он произнес на ломаном греческом. Мой брат Сотирис потом назвал маму шлюхой, за что я ему крепко врезала.

Этот земляной пол причинял нам одни только хлопоты. Мама была очень хозяйственной, от нее у меня этот пунктик на чистоте. Пол нужно было постоянно поливать. Нет, мы не окачивали его водой, чтобы не разводить грязь. Но аккуратно набирали в рот воды и сбрызгивали ею пол, чтобы пыль улеглась и застыла. Мы делали это и зимой, все вместе. А затем вместе же пол утаптывали, клали доску, плотно притаптывали, затем передвигали и все вместе вставали на нее. Потому что иначе пол снова бы превратился в землю, и снова выросла бы трава, в основном мальва, хотя однажды рядом

с раковинной пророс мак.

К своему стыду, должна признаться, что мне нравился этот земляной пол. Потому что еще с раннего детства меня тянуло к земле, пойдя пойми почему. Я всегда воображала, что у меня есть свой собственный земельный участок. И даже в школьном рюкзаке я всегда носила горсточку земли. На заднем дворе я отделила один уголок и назвала его «мое имение». Сделала ограду из веток и выращивала там фасоль, но она быстро погибла, сезон я выбрала неподходящий. Потом я организовала небольшой огород у себя под кроватью.

Зимой мы стелили половики и маленькие дерюги, но трава все равно прорастала даже через них. Однажды на рассвете я увидела, как половики шевелится и приподнимается – думаю: змея. Поднимаю половики, глядь, а там грибочек проклеивался. Словно солнце всходило из-под пола.

По углам были паучи гнезда, мы замазывали их известняком каждую субботу и каждый день выметали пауков. Но вывести их все равно не получалось. Они приползали обратно и вили гнезда. Пусть себе вьют, сказала однажды мама, они никого не трогают, к тому же едят мух.

С тех пор мне часто снится, что снег идет прямо в доме. Снится, что я дома, здесь в Афинах, в своих двух комнатках. Внутри падает снег. По углам комнаты, у ножек консоли, на салфетке на комод, вокруг умывальника. Как же так, говорю себе, ведь у дома есть крыша. И на этом просыпаюсь. А иногда снится, что в склепе матери тоже лежит снег. Могила,

говорит она мне, совсем маленькая, не знаю, как я дальше буду в ней помещаться. По углам немного снежка. И больше ничего. Даже трухи от гроба. Только снег остался от мамы.

Шел второй год оккупации, и однажды я в шутку говорю своим братьям: ребята, давайте держать пари, сколько еще дней продержимся. Двадцать шесть дней без хлеба, мы ели траву и кофе в чистом виде, крупного помола, один магазин разграбили, и я успела схватить только кофе. Мы с братьями ели по полгорсти вечером. А потом выходили на улицу и играли. Но мать нам не разрешала, потому что мы часто падали в обморок прямо во время игры. Голода мы уже не чувствовали, но двигались очень медленно. Это был первый набег на магазин, до этого люди не позволяли себе так опускаться. А потом пообещали, что Красный Крест будет раздавать еду. Мы все втроем заняли очередь с восьми утра, в этот день я не пошла в школу, – теперь мы часто не ходили в школу. Мать никогда не ходила на раздачи, не знаю, чего она стеснялась, но нам разрешала, только при условии, чтобы мы были чистыми и опрятными.

Мы ждали в очереди. И где-то в половине четвертого нам объявили, что еду раздавать не будут. Тогда все, около трехсот человек, словно вздрогнули. Никто не проронил ни слова. Затем мы все, как один, безмолвно повернулись и спинами и толчками вышибли двери трех магазинов, один был магазин женской моды, его уже сто лет как закрыли. Мы хватали все, что попадалось под руку. С нами были и жены го-

сударственных служащих: среди них мадемуазель Саломея в прогулочном костюме. Я увидела кого-то на полу: оказалось, это наш Сотирис, ничего страшного, его просто уронили, и он что-то преспокойно себе жевал. Я успела урвать одну коробку, это оказался тот самый крупномолотый заграничный кофе, у нас в доме всегда был только турецкий, в довоенные времена. Меня как молнией поразило, когда я увидела, как мадемуазель Саломея, хотя ей оторвали мех с воротника пальто, с очень важным видом выходит из одного разгромленного магазина. Истинная кокетка, она украла косметику: румяна, пудру Tokalon и помаду, все это она нам потом сама показала. Позднее я узнала, что она даже была в движении Сопротивления, и не только она одна, а вся семья, хотя она и была свояченицей художника.

И когда на двадцать седьмой день без хлеба у нас закончился и кофе, мать ушла с самого утра. А мы, дети, сидели на кровати втроем, чтобы было не так холодно, и я думала, если бы только у нас сейчас в ногах была курочка, она бы нас согрела. У птиц температура тела выше, чем у человека.

Эту курочку нам подарила мадемуазель Саломея, храни ее Господь, где бы она ни была сейчас, пусть даже и не в Афинах. Однажды она разорила курятник и отдала курицу моей матери: свари ее, пусть дети попьют бульон, сказала она, иначе, боюсь, у них скоро распухнут железки.

У курочки было красивое оперение, длинная шея и вся она была исполнена жизни, и звать не знала, что мы в окку-

пации. И мы сказали: мама, давай не будем ее резать. Хорошо, ответила мама, пусть немножечко подрастет, выйдет потом еще одна порция, к тому же, может, она еще и снесет яйцо. Яйцо мы съели, когда пришли освободители-англичане. И так мы и продержали курицу около шести месяцев, кое-как кормили ее, я иногда даже приносила ей червячка. Мы выпускали ее пощипать травку и поискать каких-нибудь букашек на пустыре неподалеку. Мы заворачивали ее в пальто Сотириса, и все втроем ходили с ней на прогулку, как бы кто ее не подстрелил и не украл. Мы носили ее на руках, потому что она очень отошала и сама почти не ходила.

В тот день, когда мы тогда пришли на пустырь, я поставила ее на землю, чтобы она искала червячка, а она завалилась на бок и смотрела на меня. У нее не было сил ковырять землю. Я дала ей воды, она с трудом выпила. Говорю: ребята, птичке плохо, пойдете домой, надо успеть ее зарезать, пока не померла. Нет, сказала мама, я ее резать не буду. И этим же вечером курица снова посмотрела на меня и умерла. От голода. Я подняла ее на руки, она стала тяжелее. С ума сошла хоронить ее, с каких пор вы стали богачами, крикнула мне с балкона мадемуазель Саломея, когда увидела, как я копаю во дворе. Она еще теплая, ошиплите ее и сварите! Дура я, что отдала вам ее, такая курица зазря пропала!

Я вернулась в дом: мама, говорю, принеси мне цапку. Братья отодвинули кровать, я вырыла яму в углу, где был устроен мой садик, и похоронила курочку, мы передвинули кро-

вать на место, вот так-то лучше. Каждое утро я отодвигала кровать и проверяла. И однажды утром около могилки моей птички я увидела улитку. Мать воскликнула, черт бы тебя побрал, где ж ты раньше была? Так бы съела тебя курица и жива осталась! А затем взяла улитку на ладонь и выпустила на траву во дворе. Мать часто вспоминала эту курицу, мы даже дали ей имя, сейчас уже и не вспомню какое, столько лет прошло.

Мы лежали на кровати все втроем, пытаюсь согреться; вечером вернулась мать, она ходила по деревням. Принесла свежих бобов и пшеницу, сварила все вместе и накормила нас. А масла нет? – спросил наш младшенький Фанис. Хотя, конечно, знал, что нет. Нет, – говорит ему мать. А если бы было, мама, вы бы нам дали, правда? – уверенно спросил мальчик, он всегда обращался к ней на вы. И в этот момент Сотирис встал и говорит: меня сейчас вырвет. Тогда мама дала ему пощечину: выблевывать еду – самый настоящий грех, за это ты попадешь в Ад. Поимей хоть капельку уважения! В меня стреляли, пока я рвала эти бобы. У нее на голове рядом с пучком было немного крови. Тогда Сотирису стало стыдно, но его все равно вырвало. Мать молча ударила его, отвела к умывальнику и вымыла ему рот. А затем также молча все сидела на подоконнике, пока не стемнело. Тогда она поднялась, открыла сундук, достала пудру – подарок на свадьбу, и напудрилась. Затем взяла большие швейные ножницы и распустила волосы. Она всегда собирала их сзади в

пучок. До чего тебя старит эта прическа, Асиминочка, – говорила ей мадемуазель Саломея, – ты сразу ну просто вылитая мать семейства.

Мама распустила волосы, они доставали ей почти до пояса, это от нее у меня такие густые локоны. Подошла к раковине и начала их отстригать швейными ножницами, а мы наблюдали за ней. И как только она закончила, почистила раковину, заплела отрезанные волосы в косу, выбросила в мусорное ведро, сказала: сходи к мадемуазель Саломее и попроси помаду.

Мама никогда в жизни не красилась. До того вечера. Но и это был первый и последний раз. На следующий – ее вымазали сажей, в тот день, когда выволокли на публичное поношение сразу после освобождения. В позапрошлом году на ее похоронах, когда опускали гроб, я успела бросить туда свою помаду. Чтобы хоть раз вышло по-моему.

Мадемуазель Саломея была золовкой семьи комедиантов. Так мы их называли, хотя люди они были золотые. Мы – семья Тиритомба, – шутила мадемуазель Саломея. У нее была сестра, вдова тетушка Андриана Каракапитасала. Ее муж был актером, и они объездили с труппой всю провинцию. Не жизнь, а подарок! Он и во мне открыл актерский талант. Двадцать восьмое октября их застало во время представления в Бастионе. Хозяина труппы тотчас определили в пехоту, он погиб почти сразу, едва прибыл на фронт. Как сказали тетушке Андриане, так, только чтобы утешить, – якобы

от шальной пули; на самом же деле, его раздавил мул, да так его и бросили. Трупна развалилась, хотя трупна – это сильно сказано, скорее, сорище родственников. И всякий раз, когда очередная артистка уходила от них посреди турне: выходила замуж в каком-нибудь городишке или уходила в бордель, роль тут же доставалась мадемуазель Саломее, чаще всего ей, так как она еще умела играть на мандоле. Как-то раз в Арте играла и тетушка Андриана, она совсем недавно родила, еще и сорока дней после родов не прошло. Она играла Тоску, только вот с ребенком на руках, – пришлось менять название, «Тоска, расстрелянная мать», мне об этом рассказала Титина, бывшая коллега из Арты, сейчас она стала художницей, рисует портреты королей, получает пенсию, а еще с родины ей посылают кефаль, впрочем, от этой рыбы ужасно полнеют.

И вот я пошла к мадемуазель Саломее, та с радостью дала мне помаду. К счастью, она у нее была дома под рукой, ведь на дворе стояла зима. А летом, чтобы помада не таяла, она просила держать ее на льду в одной кофейне. Так от нее и я узнала эту маленькую хитрость, храни ее Господь, когда устроилась на работу и мы разъезжали по турне. В каждой деревне я осыпала похвалами держателя кофейни и относила к нему свою косметику, тогда у всех уже были холодильники, а не простой лед. Я и по сей день храню помаду в холодильнике.

Взяла я, в общем, у мадемуазель Саломеи помаду и понес-

ла матери. Меня так и распирало от любопытства. Мать на-
красила губы, ей очень шла стрижка, но она об этом и не до-
гадывалась. Надела пальто и сказала: скоро вернусь, ждите.
И, на самом деле, вернулась она быстро и выглядела очень
решительно. Послушайте, сейчас сюда придет один госпо-
дин. Вы выйдите на улицу, а я вас позову через полчаса. Иди-
те поиграйте во дворе. Если начнет моросить, укройтесь в
туалете или в церкви. А сама между тем набрала в таз воды
и повесила чистое полотенце.

Мы вышли и нарвали ростков с розового куста тетушки
Канелло. Мы их чистили, ели и мечтали о том, как летом бу-
дем есть виноградную лозу. Она очень вкусная, а розы уж че-
ресчур сладкие. Мы спрятались за загоном, потому что уви-
дели, как к нам в дом заходит вовсе не какой-нибудь грек, а
Альфио – итальянец из Карабинерии. Мадемуазель Саломея
была на балконе, развешивала белье на ночь глядя: Ах, Ан-
дриана, ради Бога, ты только глянь! Вышла и тетушка Ан-
дриана, и они вместе с мадемуазель Саломеей крикнули нам:
батюшки, да у вас обыск. А сестра ей: закрой рот, Саломея,
не делай поспешных выводов, и с этими словами затолкала
ее обратно в дом.

Нам стало скучно, бутоны не утолили наш голод, и мы за-
шли в церковь. И затем увидели, как прошел Альфио, а по-
том нас окликнула мать: ребята, теперь уж идите, – и мы вер-
нулись домой.

Мама спрятала себе под кровать таз с грязной водой и ска-

зала мне: накрывай на стол. Она принесла хлеб, то есть ржаные солдатские хлебцы, маргарин и консервы из кальмара. Мы перекрестились, вдоволь поели, съели все до последней крошки. Тогда Сотирис поднялся из-за стола, достал полотенце и сказал матери: шлюха. Мать молчала, а я бросилась выцарапать ему глаза. Я поколотила его, он распахнул дверь и ушел. В следующий раз я встретила его случайно двадцать восемь лет спустя в Пирее. Он со мной не заговорил. Больше я его не видела. А мать так и вовсе больше никогда с ним не встречалась и даже не пыталась искать с ним встречи.

Как бы то ни было, тем вечером я убрала со стола, и мы очень хорошо спали, сытые, и к тому же с маленьким Фанисом нам спалось намного удобнее. Вдвоем на одной кровати куда лучше, чем втроем! Прежде чем провалиться в сон, я спросила: мама, хотите я вылью на улицу грязную воду? Нет, – ответила она мне, – это моя забота. И добавила: спасибо. С этого вечера и до самой ее смерти я начала говорить ей вы. Даже сейчас, когда я хожу к ней на могилу по родительским субботам, говорю с ней на вы.

Прежде чем пойти спать, я отнесла помаду мадемуазель Саломее, помыла посуду, вытряхнула скатерть, но крошки оставила и посеяла у себя под кроватью, там, где была похоронена птичка. А ночью тайком встала и снова поела хлеба с маргарином.

С того дня мы больше не голодали. Синьор Альфио понемногу осмелел и, когда приходил, уже не просил мать выпро-

важивать нас из дома. Он приходил к нам два раза в неделю, как только смеркалось, и приносил всякой всячины, понемногу, конечно, но даже маслище и сахар: он всегда любил потом выпить кофе. Как только он приходил и здоровался с нами, мы вежливо прощались с ним, я говорила нашему Фанису: мы идем играть, – и мы выходили на улицу. Однажды мы играли под дождем, потому что церковь была закрыта. В это время под зонтом возвращалась домой тетушка Канелло. Бедолаги, что вы делаете на улице, воскликнула она. Позор на наш район, крикнула мама Афродиты, что жила напротив. Она вязала, только и делала, что вязала кружево для приданого своей Афродите, еще до войны она сидела на нижней ступеньке у своего дома по вечерам и вязала при свете уличного фонаря ради экономии электричества. И сейчас в оккупацию с ее затемнением у нее это вошло в привычку. И вот тетушка Канелло подошла к нашей двери и крикнула: Аси-мина, твои дети у меня наверху. Идите сюда, бедняжки, – и мы прижались к ней под зонтиком и поднялись в дом. Дом был двухэтажным. Она заварила нам шалфей и, чтобы подсластить, положила в него варенье из долек инжира. Мы выпили шалфей, а потом каждый скушал свою дольку инжира. Тетушка Канелло выглянула из окна и сказала: теперь ступайте, можете идти домой, ну, пока.

Однажды тетушка Канелло подошла ко мне на улице и сказала: деточка моя, уважай свою маму теперь еще больше, а соседи пусть себе болтают сколько влезет.

Тетушка Канелло состояла в движении Сопротивления. Мы об этом знали. Но несмотря ни на что, она была добра к нашей семье и всегда ласково приветствовала нас. Она была красивой женщиной: ее темные волнистые волосы напоминали вьющиеся волосы мраморных богинь, тех, что я видела, когда до войны мы ездили со школьной экскурсией в Древнюю Олимпию. Только у нее в волосах еще были шпильки, которых у статуй мне видеть не приходилось. Шпильки были костяные и тяжелые, я обратила на них внимание, потому что моя мать носила проволочные.

Тетушка Канелло была очень высокой, под стать мужчине, от ее поступи земля дрожала. Она работала связисткой на телеграфе: тогда его называли тройное Т⁸, тройной служащий. И сейчас, когда ей уже перевалило за семьдесят, она ходит точно так же победоносно, как Робур-Завоеватель. Красивая женщина, хотя немного моей женственности, ей бы, конечно, не помешало! До войны по вечерам они с сестрой сидели на деревянной лестнице у дома и пели – или «Глаза, твои глаза», или «Не плачь напрасно, это было лишь небольшое помрачение рассудка, короткое увлечение, только и всего». Они пели каждый вечер, но лучше у них от этого не получалось, хорошие девушки, но голоса жуть до чего фальшивые. С началом оккупации пение прекратилось. Ее сестра исчезла, поговаривали, что она со своим женихом ушла в горы.

Теперь тетушка Канелло снова поет, но такие песни, ко-

⁸ От греческих слов почта, телеграф, телефон.

торые я по политическим убеждениям не одобряю. Она так и живет в Бастионе, хотя ее дети перебрались в Афины. Когда она приезжает их навестить, заглядывает и ко мне. И пока я варю кофе, она поет мне своим высоким голосом, все так же фальшивя. Но я ничего ей не говорю, потому что она обидится, она-то всегда была высокого мнения о своем пении. Ее дети добились успеха, дочка даже вышла замуж за иностранца и жила в Европе, но тетушка Канелло ни перед кем не стала от этого задирать нос. Красавица, вдова и пенсионерка, пенсия нажита своим непосильным трудом. А со спины ее легко можно принять за мою ровесницу, так я и ей говорю, чтобы сделать комплимент. Это мне посоветовал психиатр, когда на сцене у меня случился припадок, из-за чего я больше не могу найти работу в приличной труппе. Мой антрепренер отвел меня к психиатру, по медицинской страховке, конечно. Не отчаивайся, деточка, сказал мне врач. Выйди на пенсию и отдыхай. И отзывайся о людях хорошо, ведь когда говоришь хорошие слова о ком-то другом, лечишь и себя саму, злословие – это напасть всех людей искусства, особенно вас, из мира театра, потому-то вы все так и несчастны.

И с тех пор я не боюсь, когда со мной снова случается припадок. И больше не выглядываю в окна, просто закрываю ставни и жду, когда все пройдет. Это всего лишь приступ, говорю я сама себе, пройдет, через пять-шесть часов пройдет. Я закусываю полотенце, чтобы никто не слышал (это я видела в кино). Поэтому и делаю комплименты тетушке Ка-

нелло: вовсю хвалю ее талию и внешний вид, ведь женщина она хорошая, и пенсия у нее о-го-го.

Она вышла замуж до начала войны за одного очень красивого работающего мужчину, один за другим у них родилось четверо детей. Оккупация застала ее с тремя малютками на руках и безработным мужем. Он, говаривали, в полночь открыл окно, и его ударил в глаза злой дух ветра, а может быть, на него навели порчу, видишь ли, люди, завидуют красоте и счастью других. С тех пор человек от страха потерял рассудок и больше не выходил из дома, а ведь ему едва исполнилось тридцать три года. Красивый мужчина. Он помогал по хозяйству, присматривал за детьми, пока жена была на телеграфе, научился чинить обувь. Нашу чинил бесплатно, что за человек! Только не заставляй его выходить на улицу! На веранду он в общей сложности вышел лишь два раза, после освобождения. А из дома – спустя тридцать четыре года со всеми полагающимися почестями. Дети сами вынесли его в открытом гробу. Отпевание было в Кафедральном соборе, тетушка Канелло не пожалела денег. На телеграфе она работала в две смены, затем стояла очередь за пайком и потом возвращалась домой с крупой в котелке, кормила детей, заканчивала ночную стирку, а утром в семь часов снова уходила на службу.

По воскресеньям они с мадемуазель Саломеей ходили подворовывать по окрестным деревням, с ними, покашливая, ходила и Афродита, тогда ноги ее еще держали. Они тас-

кали всякие фрукты, которые свешивались через ограду, залезали и в чужие бахчи и хватали все, что успевали. Это было дело очень опасное, так как деревенские тогда незаконно держали оружие и палили дробью, стоило только ступить на их землю. Однажды они увидели корову, которая паслась на выгоне. Бьюсь об заклад, недоенная, воскликнула тетушка Канелло, легла под нее навзничь и начала сосать вымя, затем встала, придержала корову: тогда попила молока и мадемуазель Саломея и чуть-чуть Афродита. С тех пор они начали носить с собой бутылку, но ни разу больше им так и не попалась бесхозная корова.

Мы очень удивлялись, когда они в свои походы по деревням уходили с торбой и корзинками, набитыми кудрявой капустой. Потом я узнала, что они в них носили ручные гранаты. Они были связными, и тетушка Канелло была их предводителем. Они относили гранаты партизанам. Кто бы их заподозрил, оголодавших женщин, а Афродите и вовсе тогда было семнадцать лет. А иной раз мадемуазель Саломея брала с собой свою мандолину, под предлогом что они якобы идут развлекаться, ну совсем из ума выжили! Ручные гранаты они передавали Афанасию по фамилии Анагну, сыну деревенского учителя из деревни Вунаксос, умственно отсталому парнишке моего возраста.

Полтелеграфа заняли итальянцы. Тетушка Канелло научилась худо-бедно понимать по-итальянски. Эта сатана в юбке откопала самоучитель итальянского языка и подслуши-

вала разговоры оккупационной администрации. Она записывала все себе в блокнотик, который оставляла в общественных уборных, что само по себе еще один скандал: женщина в мужских уборных. Очень многие тогда подозревали ее в распутстве. Однажды в уборной ей попался один старик и накинулся на нее: дура, ты что тут забыла, ты разве мужик? А она даже не дрогнула: дедуля, ты бы лучше застегнулся, тебе похвастаться нечем.

Об этом я узнала позднее, это стало известно, когда ее представили к ордену в годы Республики. Хотя ходили слухи, что из-за своего слабого знания итальянского она дала неверную информацию и был взорван не тот мост. Но сама я думаю, что слухи распространяли ее завистницы: ей завидовали, что она владела языками. Как бы то ни было, тогда то и дело какой-нибудь деревенский ходил на телеграф во время ее смены и оставлял ей корзинку с травой или картошкой со словами: подарок от твоей кумы, кумушка. Поговаривали, что у тетушки Канелло есть любовник. И только моя мать этому не верила и постоянно ее защищала (сама она тогда была с синьором Альфио), любовник у тетушки Канелло, исключено, – кричала моя мать, – она женщина честная. Это дошло и до самой тетушки Канелло, и тогда она сказала моей матери: Асимины, молчи, глупая, пусть себе сплетничают, а то еще чего заподозрят! Потому что она была патриотка до мозга костей. В корзинах под картошкой были ручные гранаты, пули и другие боеприпасы. И эта полоумная

по пути домой с этими гостинцами гордо проходила прямо перед казармой. И все время надрывалась от тяжести. Итальянцы в казарме знали ее, потому что некоторые работали с ней на телеграфе. И вот однажды один, едва только завидел, как она ставит корзинку рядом с караульной будкой, чтобы отдышаться (она тогда снова была беременна), сказал ей: синьора, давай помогу. Хорошо, как тебе будет угодно, – ответила она. Так они вместе и тащили корзинку с боеприпасами до ее дома. *Il mangiare*, да? – сказал ей итальянец (это по-итальянски означает еда). А эта сумасшедшая ему в ответ: куда деваться, надо кормить четыре с половиной бамбини!

Когда живот у нее уже стал заметен, мать Афродиты сказала ей: да ты из ума выжила, забеременела, когда такая нужда и голод! Как ты жить-то собралась? А тетушка Канелло ей: я, признаться, не очень-то и хотела, мне и боеприпасы переносить не очень сподручно, но, видишь ли, муженек-то мой вечно сидит взаперти. Он очень скучает по кино, его любимые сладости мне не достать. Как мне его еще развлекать прикажешь? А о том, чтобы от ребенка избавиться, она и думать не хотела. Это ей предложила сделать мадам Пластургина, бедная повитуха и очень порядочная женщина. Тетушка Канелло на сносях и работала и ходила на вылазки с боеприпасами.

Но однажды ее позвали в Карабинерию на допрос. Кажется, кто-то настучал о вылазках с мандолиной, то есть я знаю, кто именно это сделал, но помалкиваю. Она нынче жена чле-

на парламента, не хочу в это ввязываться, а то еще того и гляди лишат пенсии.

Мы все знали о Сопротивлении, но даже если бы угрожали смертью матери и брату, мы бы и рта не раскрыли, хотя и поддерживали тогда националистов. Мама отправила меня к синьору Альфио, чтобы предупредить, но я его не нашла. Тетушку Канелло задержали и пять часов допрашивали в казарме. Там ее избили, женщину на седьмом месяце беременности! К счастью, в какой-то момент успел вернуться синьор Альфио: не троньте синьору, я ее знаю, она работает на телеграфе. И посреди всего эта сумасшедшая Канелло как завопит, а ну пустите, у меня вахта и меня оштрафуют! И в конце концов, ее отпустили. От многочисленных побоев у нее слетел один башмак (мы тогда носили деревянные башмаки из древесного массива), и она, как только ей сказали «марш отсюда», бегом спустилась по лестнице.

А когда вышла на улицу, спохватилась, что она полубосая, и как давай кричать: капрал, мой башмак! И тогда сверху открылось окно, оттуда вылетел ботинок и попал ей аккуратно по лбу (как только он ее не убил наповал? Эти женские башмаки весили чуть ли не по две окки⁹ каждый!). В общем, взяла она свой башмак и, матюгаясь, ушла с огромной шишкой на лбу, само собой понося на чем свет стоит всю Италию с верха сапога до самого каблука.

Тогда все женщины носили сабо с открытой пяткой – от-

⁹ *Окка* – османская мера веса. 1 окка = 1,2828 кг.

куда было взяться коже для подбивки? И как только износилось все, что было куплено до войны, все поголовно стали носить деревянные башмаки. Изначально это была обувь прачек, причем бедных, их надевали, чтобы не скользить на мыльной пене. Однако женщины во время оккупации сделали их писком моды, и так пришлось их носить и замужним дамам. Подошва была сделана из цельного куска дерева, каблук был очень высокий и толстый, точно бойница. На верхней части вязальным крючком делали различные узоры, эскизы копировали с занавесок, отдавали башмачнику, а тот как следует прибивал, и получалась универсальная модель и на зиму, и на лето. Зимой эти башмаки носили с высокими чулками и следками, ведь из-за холода можно было того и гляди получить обморожение. И так, когда по дороге одновременно шли три женщины и итальянцы выходили из казармы на балкон с оружием, башмаки стучали точно картечь по асфальту. Частенько можно было услышать истошные вопли: кто-то вывихнул лодыжку. А чего они хотели: тринадцатисантиметровый каблук из древесного массива – это вам не шутки! С таким высоченным каблуком и постоянным головокружением от голода девушки то и дело на дорогах подворачивали ноги, случалось это и со знатными барышнями. А я такие деревянные башмаки надела незадолго до так называемого освобождения, когда начала превращаться из девочки в девушку.

Через шесть недель после того, как ее поколотили, тетуш-

ка Канелло родила. Вечером у нее начались схватки, а на улице комендантский час, все у этой женщины не слава Богу, вот кто, спрашивается, побежит за ее матерью на другой конец Бастиона? Конечно, мадам Пластургина, бедная повитуха и очень порядочная женщина, вызвалась принимать роды бесплатно, она жила в квартале Лапатхо, но женщины ей не доверяли, потому что она была ученой и совсем еще молоденькой: а им подавай повитуху с опытом. Хорошо, что сеньор Альфио тогда как раз собрался уходить от нас и сопроводил меня, мы с ним вместе привели мать тетушки Канелло, и роды прошли успешно. Меня старуха заставила кипятить воду, и едва я открыла дверь и отдала ей кастрюлю, она меня обругала, мол, по кой я притащила к ней в дом итальянца, что теперь о ней пойдет дурная слава, будто у нее в хахлах враг родины. Как бы там ни было, у тетушки Канелло родился здоровый мальчик. Последыш, сказала она мне. Откуда ей было знать, что после войны при Скоби¹⁰ у нее появится еще один.

А на утро после родов тетушка Канелло уже опять была на ногах. Покормила новорожденного, перепеленала его и сама вся закуталась, около десяти часов взяла котелок и кастрюлю в придачу и собралась выходить. Тогда ее мать как с цепи сорвалась, из ума выжила, хабалка ты этакая, безбожница, совсем ополоумела из дома выходить! Без благословения

¹⁰ Речь идет о британском генерале Рональде Скоби и военном столкновении в декабре 1944 г. в Афинах, известном как Декемвриана или Декабрьские события.

священника и до сорокового дня после родов, не очистили ведь тебя еще! Но как ее, роженицу, удержишь, не хотела она потерять паек от Красного Креста.

В очереди за крупой ее увидели соседки, мать Афродиты и семейство антрепренера Тиритомба, всю измотанную, в лице ни кровинки, совсем без сил, и хоть она и закуталась так, чтобы никто не заподозрил, что она уже родила, все тщетно: она была бела как мел, столько крови потеряла при родах, глаза закрыты, и хотя она и пыталась ходить как Сципион Африканский, все равно едва держалась на ногах. Послушай, сказала ей жена антрепренера, что с тобой, где твой живот? И тут же ощупали ее и на руках потащили назад домой, а она всю дорогу вопила, что потеряет свои порции. И вот тогда вышла на улицу моя мать. Из-за синьора Альфио она никогда не стояла в очереди за пайком, за купонами ходила я, и мы незаконно использовали и купон беглеца Сотириса. Дамы из Креста отдавали мне его порцию: где уж им меня, такую кроху, заподозрить в обмане.

Пока тетушка Канелло оправлялась после родов, моя мать впервые появилась в очереди за пайком, и так она ходила забирать ее порции целую неделю. Дамы из Креста поначалу прогнали ее, но пришел синьор Альфио, что-то сказал им, и паек для семьи Канелло ей стали давать без всяких возражений, и даже клали на целую ложку больше. И так всю неделю, пока тетушка Канелло была прикована к постели. Другие женщины в очереди шептались о моей матери, вот идет

предательница. Но мать Афродиты и семья Тиритомба были на нашей стороне, хоть мы и были предателями. Афродита не приходила стоять очередь – тогда у нее как раз только началась чахотка.

И когда роженица встала на ноги, моя мать больше никогда не ходила за пайком. А тетушка Канелло разговаривала с нами и всегда поддерживала с нами отношения даже после того, как мать выволокли на публичное поношение, сразу после так называемого освобождения. Едва она снова встала на ноги, сразу начала заботиться и об Афродите: ее чахотка все ухудшалась, а она все вязала кружево. Однажды тетушка Канелло пошла попросить у какого-нибудь деревенщины масла, а тот ее прогнал в три шеи. Она возвращалась вся злая рассказать об этом матери Афродиты, как вдруг на пути ей встретилась высокая полная девушка. Это была дочь продавца газет Купы. Мы называли ее баба-огонь и даже считали красивой, потому что она была полной. Смотри, так сало с нее и течет! – говорили мужики, пуская слюни. Она же на них не обращала никакого внимания, потому что сожительствовала с одним итальянским офицером. И вот повстречалась она тетушке Канелло, как раз когда та возвращалась вся вне себя от злости. А та другая ступала ну прямо сама грациозность и вся так и сияла. А тетушка Канелло как схватит ее да как засветит кулаком, что другая прокляла день, когда родилась на свет. И пока та ее колотила, все спрашивала, обращаясь исключительно на вы, что же вы меня бьете, любез-

ная, кто вы такая, мы с вами не знакомы, что я вам сделала? А Канелло ей, да не знаю я тебя, дура, но ты вся такая упитанная! За это и бью!

Вот и вся помощь, которую она могла предоставить Афродите, которую между тем уже совсем сломила болезнь.

До болезни Афродита была очень красивой. У нее была грудь. Вместе с матерью она вязала кружево для приданого, но какие уж там клиенты во время оккупации. У меня никогда не было груди, да и после освобождения она не выросла, и уже спустя годы в театре мне постоянно талдычили об этом поклонники и любовники. Плоская доска да два соска – вот что они вечно говорили мне. У Афродиты была грудь, матовая кожа, а глаза голубые-голубые, она у нас была единственной голубоглазой, а мы все остальные в квартале – черномазые, я, конечно, – другое дело, но в блондинку я стала краситься только со времен диктатуры¹¹. К тому же Афродита так красиво смеялась, а волосы ей словно завил ветерок. Видная девушка. Но с чахоткой за полгода ее кожа вся почернела, точно мощи святых. Глаза выцвели. Моя мать относила ей кусочек маргарина, когда нам его приносил синьор Альфио, но девушка все угасала и угасала. Колени у нее стали толще бедер. Крепись, девочка моя, – говорила ей мать, неизменно плетя кружево, – уже недолго осталось, сам Черчилль сказал. Тогда из запрещенных радиоприемни-

¹¹ Время популярности греческой певицы и актрисы театра и кино Алики Вуюклаки (1934–1996).

ков мы узнавали, что войска Черчилля все продвигались, что скоро Гитлер сдастся. Те же новости принесла и тетушка Канелло, когда вернулась с вылазки с боеприпасами в корзине, полной диких артишоков. Сумасшедшая женщина. Однажды она рассказала нам о той самой вылазке, когда она ходила вся нагруженная пулями. Поднялась она, значит, на холмик, а кругом такая природа – не налюбуйешься (природе-то что до нашей войны!), и тогда Канелло сказала Саломее: слушай, это надо отпраздновать – брошу гранату, столько времени я их таскала, оправдывалась она потом перед нами, столько я их таскала, а так и не слышала ни разу, как хоть они взрываются-то. И тут она забралась на самую вершину холмика, достала заколку, так она назвала предохранитель, и швырнула гранату вниз. Весна и все кругом отозвалось гулким эхо, у Саломеи на мандолине даже лопнула струна. А внизу из кустов ежевики, как ошпаренные, выпрыгнули два немца: штаны спущены до самых берц, вот и думай, что они там в кустах делали, какими гадостями занимались, и Канелло этим взрывом их прервала на самом сладком моменте. Немцам власти запрещали знаться с местными женщинами, отсюда и пошли толки, что всем известные дела они улаживали, так сказать, между собой.

Дом тетушки Канелло был на солнечной стороне, и в ее окна весь день светило солнце. И когда наш Фанис заболел аденимом из-за того, что так стремительно вытянулся, и все время проводил в кровати, днем тетушка Канелло звала его

к себе и усаживала у окна. В солнечном свете содержатся калории, а еще он лечит, говорила она нам. Лекарство Фанису мы тоже давали – антипирин, это что-то наподобие порошка из хинина. Он был ярко-желтого цвета и ужасно горчил. К нам в окно солнце не заглядывало, его загораживала церковь, да и первый этаж как-никак.

Тетушка Канелло тогда подумала взять погреться на солнышке и Афродиту, но Афродите уже ни до чего не было дела, она все только улыбалась. Не было ей дела даже до того, что из партизанской армии от отца не было ни одной весточки. Что ко всему прочему зарядили какие-то аномальные дожди. Афродита часами напролет сидела у своего окна с приоткрытой шторкой: ее глаза глядели вдаль, но ничего не видели. Потом, когда она совсем ослабла, мать относила ее к окну на руках и оставляла в кресле. Часами она выводила на стекле пальцем невидимые узоры. Я снизу приветственно махала ей, но она на меня даже не глядела.

Тем временем семья антрепренера, Тиритомбы, уехала в театральное турне, об этом я расскажу позже, всю историю целиком, шутка ли, представь, сорваться в турне только из-за какой-то козы!

Мы больше не голодали. Но и не скажешь, что очень шикавали, однако с тем немногим, что раз в неделю приносил синьор Альфио, мы потихоньку держались, и наш младшенький, Фанис, совсем выздоровел. Отношения моей матери с синьором Альфио продолжались: в сравнении с публичны-

ми женщинами она обходилась ему куда дешевле, к тому же так он не боялся подхватить что-нибудь венерическое и, помимо всего прочего, у себя на родине он был женат. Да еще и такой скромняга, со шлюхой ему не совладать. И он так любил свою жену, прямо-таки боготворил, это было понятно по тому, как он говорил о ней. Поэтому он предпочитал удовлетворять свои сексуальные потребности с женщиной хозяйственной и порядочной.

Моя мать почти не выходила из дома. Разве что изредка вечером, когда тетушка Канелло звала ее в гости или помочь постирать и прополоскать белье. Строгий контроль меж тем ослабили, завоеватель понял, что мы послушные оккупированные, и комендантский час теперь начинался с полуночи. Снова открыли кинотеатр, но показывали, конечно, только немецкие оперетты с Марикой Рёкк¹², венгерские фильмы с Палом Явором¹³ и Каталин Каради¹⁴, да пару-тройку итальянских кинолент.

В кино я ходила с Фанисом, нас пускал бесплатно господин Витторио, тоже из Карабинерии. Он заменил синьора Альфио, когда тот вернулся на родину. Билет в кино был

¹² Марика Рёкк (1913–2004) – известная немецкая киноактриса, танцовщица и певица.

¹³ Пал Явор (1902–1959) – венгерский актер. В 30-40-х гг. активно играл в театре. За прогрессивную деятельность был арестован фашистами. После выхода из тюрьмы в 1945 г. жил и работал в США.

¹⁴ Каталин Каради (1910–1990) – одна из наиболее известных и популярных кинозвезд и певец Венгрии 1940 гг.

дешевый, общий вход – пять миллионов драхм. Почти задаром, один спичечный коробок, для сравнения, тогда стоил три миллиона. Но откуда у нас взяться даже такой ничтожной сумме. Я набивала Фанису полный карман изюма, и с пяти до семи мы были в кино. Прежде чем зайти, мы спрашивали на входе дядю Григория: еду показывают? И только тогда заходили.

Потому что мы смотрели только те фильмы, где показывали еду. В драмах не ели. А вот в опереттах всегда были сцены со зваными ужинами: стол, наполненный яствами, а герои только разговаривали и практически не ели. Так что однажды какой-то малый крикнул Вилли Фричу на экране: да съешь ты уже хоть что-нибудь! Народ смотрел на еду и облизывался. И когда все услышали это, так и покатались со смеху. А один немецкий солдат, который смотрел с нами картину, подумал, что его родину обложили трехэтажным матом, и того умника крепко поколотили.

Этими фильмами мы наедались, потому что там была и вторая сцена с едой, когда актер вел героиню в ресторан или в отдельную комнату, чтобы соблазнить. В начале они только пили, и толпа приходила в ярость. Но потом появлялась и еда. Выглядело не очень-то аппетитно: сплошные устрицы да икра, это с тех пор я так брезгливо отношусь к морепродуктам. Ни тебе фасолевого супа, жареного мяса или запеченной бараньей головы. Только в одном фильме ели яйца. Часто, когда заканчивались сцены с едой, Фанис начинал каню-

чить, чтобы мы пошли домой, потому что потом были только любовные сцены да всякие слюнявости. Думаю, именно тогда я и вынесла любви неутешительный приговор: в основном она казалась мне чем-то вроде хирургической операции в постели, и пусть сколько влезет трепыхается на мне мужик, но мнения своего я и по сей день не изменила.

Синьор Витторио не был таким щедрым, как синьор Альфио. Он тоже был переводчиком, синьор Альфио собственноручно привел его к нам однажды вечером. Сказал, что он возвращается на родину и вот привел представить моей матери свою замену. Он был очень взволнован и в этот прощальный вечер забыл принести нам еды. Ушел он, я бы сказала, чуть ли не в слезах, даже расцеловал нас с Фанисом и дал денег. Мы проводили его до угла дома, чтобы оставить маму наедине с новым мужчиной. Мы старались поскорее расправиться со всеми этими любезностями, потому что тетушка Хрисафина, та, что жила в узком двухэтажном доме напротив, подарила нам книгу с кулинарными рецептами Целемендеса¹⁵. И по вечерам мы собирались все вместе, и я читала – и Хрисафине, и детям тетушки Канелло – рецепты из этой книги, в которых были сплошные меренга да яйца. Сначала я читала про главное блюдо, а затем – про десерт.

Мы держали в кулачках деньги – подарок синьора Альфио, и, чуть только вышел синьор Витторио, тотчас забежа-

¹⁵ *Николаос Целемендес* (1878–1958) – греческий шеф-повар начала XX в. Считается одним из самых влиятельных писателей современной Греции.

ли в дом. Мать попросила меня принести бумагу написать для нее кое-что. Я с трудом отыскала свою школьную сумку, взяла перо, чернильницу и вырвала расчерченный лист из тетради по арифметике. Эту сумку я не открывала целых три года. Мать сказала мне, Рубини, приходи, как только маленький заснет, мне нужна твоя помощь. К счастью, наш Фанис уснул быстро, и под диктовку матери я написала письмо синьору Альфио, потом переписала начисто, и утром Фанис понес его в казармы. К счастью, он успел застать синьора Альфио и отдал ему послание. Его копию я до сих пор храню у себя в сумочке:

Достопочтенный мой синьор Альфио,

Я женщина, которую Вы посещали два года, из дома за церковью Святой Кириакии, по имени Асимины. Пишет к Вам моя дочь Рубини, потому что сама я грамоте не обучена.

Благодарю, что Вы целых два года так часто приходили ко мне, а еще за Ваше великодушие и за продукты. Также благодарю Вас за то, что познакомили меня с Вашим преемником, я женщина очень домашняя и сама бы не смогла никого найти.

Знайте, я всегда буду помнить и благодарить Вас, потому что Вы спасли моих детей от голодной смерти, да и мне общение с Вами доставило большое удовольствие. Грех так говорить, но все же знайте, что как мужчину я ценю Вас

больше своего мужа. Знайте, что именно Ваша забота сделала меня настоящей женщиной.

Я замужем, а может, и вдова, но все же знайте, я полюбила Вас и впервые в жизни с такой страстью возжелала мужчину. Я никогда Вам этого не показывала, но теперь, когда Вас нет рядом и больше уже никогда Вы не переступите порог моего дома, говорю. Я не хочу очернить имя своего, возможно, покойного мужа, но, если бы мы жили в мирное время, я ни за что бы не приняла от Вас продукты. И рубашки и нижнее белье, что я стирала для Вас, я стирала с огромным удовольствием, и с радостью стирала бы их всю жизнь. Знайте, когда я замачивала их в корыте, то представляла, что Вы – мой законный муж.

Ступайте с Богом, я благословляю Вас. Вы – враг моей страны, но одно знаю точно: Вас тоже ждет мать. А вот что такое народ, я не знаю, да и никогда в жизни не видела я этого так называемого народа.

Будьте здоровы и Вы сами, и Ваша фамилья, пусть радостно примет Вас Ваша супруга. На той фотографии, что Вы показали мне, она очень красива. Вы оказались настоящим мужчиной, и к тому же очень страстным. Это было моим утешением, особенно зимой. Меня терзали муки совести, что мне так хорошо, а мои дети мерзнут на улице, но, к счастью, Вы кончали быстро и аккуратно.

Знайте, что это занятие впервые я начала именно с Вами, прежде я этого никогда не делала. И именно с Вами я

стала получать удовольствие, – быть может, это не очень патриотично, может, это и грех, но я не боюсь, потому что нет ничего свыше, чтобы наказать меня. Но если бы и было, то как вышло, что оно не помогло мне, когда я так в этом нуждалась? Это нечто существует свыше только, чтобы карать? Если так, то нет там ничего, и точка.

Надеюсь, и Вы остались довольны нашей совместной работой. Вы очень тонко чувствующий мужчина, я слышала, что у Вас это врожденное, у всех итальянцев.

Я желаю Вам здоровья и долгих лет жизни, также желаю победы Вашей родине, но и своей тоже. И чтобы Вы поняли всю искренность моих чувств, я заканчиваю это письмо восклицанием: да здравствует Греция, да здравствует Италия.

*С уважением, искренне Ваша Мескари Асимина
(письмо написала ее доченька)*

Когда я переписала письмо начисто, на нас нахлынули слезы, и, сами не понимая почему, мы тихо плакали в обнимку, чтобы не разбудить ребенка. Я вспомнила про деньги, что нам подарил синьор Альфио. Свои я оставила на столе, забрала и у нашего Фаниса, он спал, крепко зажав их в кулаке. Я отдала матери все до копейки, и тем вечером мы впервые в жизни спали с ней вместе в ее кровати: но ни она, ни я не просили об этом. А еще она разрешила мне вылить на улицу воду из таза.

Деньги мы тогда находили и на улице, но только мелочь,

какие-то жалкие пятидесятитысячные. Мой учитель, господин Павлопулос, жил вниз по лестнице от церкви, и, хотя я больше не ходила в школу, он все равно здоровался со мной и пятнадцатого числа каждого месяца, в день выдачи зарплаты, брал меня с собой. Зарплату он получал бумажками, в двух наполовину набитых мешочках, и один нес он, а другой – я. Он был низенький и, пожалуй, красивый мужчина, думаю, он был моей первой любовью, но я тогда этого не осознавала. Где он теперь? Он всегда давал мне одну-две миллионные бумажки. А те деньги, что мы находили на улицах, в воскресенье бросали на поднос, когда ходили с Фанисом в церковь. Хотя не думаю, что отец Динос заругался бы, если бы мы не сделали пожертвований храму. Каждое воскресенье мы причащались, чтобы в конце литургии взять антидор¹⁶. Отец Динос нарезал их большими кусками, прекрасно зная, что большинство людей только за этим и ходит на службу. Нам он давал на два кусочка больше. Это вашим родителям, говорил он. Когда прихожане не давали денег, он бранил их, ну, конечно, как антидор жрать – это вы умеете, а храму подавать – и руки не протянете! И он знал, к кому именно обращаться: к жене какого-нибудь спекулянта или деревенским, что недавно купили дома в Бастионе. Они бежали из своих деревень, потому что их прогнали партизаны, и купили дом с садом за два бурдюка масла и два воза зерна.

¹⁶ *Антидор* – в Православной церкви раздаваемые верующим в конце литургии части просфоры.

Иногда мы ходили и в храм Святого Афанасия, священник там был человек святой и кроткий. Он сделал нам знак подождать и принес целый ломоть от просфоры. Но в тот храм мы ходили нечасто, потому что сын священника Аввакум, когда проходил мимо меня во время службы с курильницей и в рясе, нашептывал мне, что хочет со мной сделать всякие богохульные вещи, и просил ему отдаться. Этого в принципе от меня хотят все мужчины, но тогда-то я была слишком мала, чтобы что-то в таких делах понимать. Всю жизнь они от меня хотят именно этого, хотя, конечно, я сама их провоцирую: такая аппетитненькая – ну как не поддаться искушению!

Наша мать никогда не ходила на службу, с тех пор как закрутилась эта история с Альфио, да и после: она знала, что ее появление возмутило бы прихожан. Лишь однажды она пошла в церковь, на вечерний молебен, и тогда какая-то женщина крикнула ей: предатели, вон из храма! Но отец Динос оборвал ее, прервал молебен и сказал: милочка, это не вам судить, в храме для всех есть место. Но моя мать больше никогда туда не ходила. И здесь, в Афинах, была только один раз – в прикладбищенской церкви, да и то лежа в гробу. Чувство собственного достоинства я унаследовала от нее. Однажды в турне где-то севернее Фессалии кто-то из толпы прямо во время спектакля крикнул во все горло: сколько за ночь? Один раз, второй, и тут я прервала представление, подошла к нему и говорю: послушайте, господин хороший, по како-

му такому праву вы ругаетесь? А он мне в ответ: я за это плачу, дорогуша. Ты же артистка? А значит – проститутка. Послушайте, – говорю ему, – мистер! Мы, может быть, даже и шлюхи, но не проб..духи! Так что не мешайте работать! Все так и повалились со смеху, но антрепренер потом мне высказал: Рарау, у тебя дырка вместо мозгов!

Немногим позднее, когда синьор Витторио занял место синьора Альфио, умерла бедняжка Афродита. Она долго сражалась со смертью. Два месяца мы ждали с часу на час... Моя мать и тетушка Канелло каждую ночь по очереди ночевали у них дома, чтобы матери больной не встречать смерть одной-одинешеньке. Это была первая смерть в их доме. Ее мать не спала всю ночь, вязала кружево для приданого своей Афродиты (после оккупации она продала его) и то и дело надевала очки и проверяла спящую, дышит ли. А потом снова бралась за работу. Моя мать сидела рядом и клевала носом, я дремала, забравшись ногами под покрывало Афродиты. Умница, ты греешь ей ноги, говорила ее мать, но Афродита уже не различала ни тепла, ни холода. И я сказала матери: мама, если она умрет, пока я буду спать, разбудите меня. Чтобы я не заразилась. Я думала, что смерть заразна.

Наш Фанис ходил к ним домой лишь однажды, по одному поручению, и Афродита прогнала его: не заходи, я больна. Тогда чахотку называли болезнью, очень модной болезнью. Про нее и в романах писали. Если какую-нибудь молодую героиню покидал возлюбленный, то она, как правило, тут же

заболевала чахоткой.

Мне уже доводилось видеть покойников. До войны это было делом привычным. В Бастионе кто бы ни отправлялся на операцию с аппендицитом, из больницы, как правило, возвращался уже вперед ногами. И люди из богатых семей тоже, даже сын банкира умер от операции, ему было всего семнадцать лет.

Впервые я увидела покойника, когда мне было семь, и это не произвело на меня никакого впечатления. Он был похож на всех остальных людей. Хоронили обычно в открытом гробу, рядом с гробом стоял носильщик и держал крышку, позади шел священник, он пел и между делом по пути здоровался с проходящим мимо знакомым. За священником шли облаченные в траур родственники, вслед за ними несли хоругви (один служка то и дело слегка нарочно ударял хоругвь другого), а уж следом весь остальной народ. Похоронная процессия проходила по главной улице Бастиона, на этом настаивали почти все родственники умершего: кроме того, что так полагалось, им хотелось, чтобы покойный простился с улицей, по которой прогуливался каждое воскресенье. Когда проходила процессия, лавочники в знак уважения на минуту закрывали двери магазинов, крестились, а потом снова начинали торговать. Прохожие снимали шляпы и, склонившись, ждали, пока пронесут гроб и пройдет священник в ризе.

Потому-то меня никак и не поразила смерть Афродиты. Лишь бы меня не заразила! С трех лет я слышала об умер-

ших, что те встают ночью и вечно чего-то требуют от живых. Так пишут в сказках, говорила мне крестная, не верь этому, дитя мое, покойники – добрые.

Позднее, во время оккупации и партизанского движения, я видела мертвых и без гробов; однажды, когда нас освободили партизаны, еще до освобождения англичанами, я видела и убитого, который целых две недели висел на колокольне и уже весь вздулся. Видела я и эвзонов¹⁷ и коллаборационистов из Батальонов безопасности¹⁸, связанных у стены с кишками наружу и спущенными штанами. Сейчас, конечно, когда мне уже минуло шестьдесят (хотя на шестьдесят я не выгляжу, все дают мне сорок, а один тип, представь себе, однажды даже надел презерватив, совсем сумасшедший, чтобы не заделать мне ребенка! Совсем сбрендил!), сейчас, когда я вижу мертвого, меня всю передергивает, – в общем-то, так и должно быть. Конечно, одно дело девчушка-провинциалочка и совсем другое – дама из Афин, еще и артистка, много повидавшая на своем веку!

Афродиту мертвой я не видела, потому что вечером, когда она умирала, я играла на улице. Меня увидела тетушка Ка-

¹⁷ *Эвзоны* – элитное подразделение пехоты греческой армии.

¹⁸ *Батальоны безопасности* – военизированные группы греческих коллаборационистов, поддерживающие германо-итало-болгарские оккупационные силы. Батальоны безопасности действовали на территории Греции во время Второй мировой войны. Были созданы 18 июня 1943 г. по решению правительства Иоанниса Раллиса для сохранения законного порядка и борьбы против Греческого Сопротивления.

нелло и послала за молоком для нашего стремительно подрастающего Фаниса.

Как только я воротилась, Афродита уже угасла. Потух ее фитилек, сказала мне мать, пойдём простишься с ней. Я еле-еле поднялась к ним по лестнице, дверь была открыта настежь, будто в доме справляли именины. Какие-то два итальянца тогда и вовсе приняли дом за бордель и поднялись аж до самой входной двери. Я заглянула в комнату девочки, мне было видно только ее ноги, тетушка Канелло растирала их, чтобы согреть, а мать Афродиты вязала кружево. Но в этот самый момент меня снизу позвал наш Фанис: партизан волокут, айда туда! И мы побежали на площадь, но напрасно. Когда привозили убитых повстанцев, их в назидание бросали на площади. Но сейчас привезли живых, их держали в карцере, который организовали в специально снятом жилом доме.

Привезли и женщин. Все повстанцы были субтильные, тощие. Много страданий выпало на их долю. Тогда впервые в жизни я увидела женщин в шинелях, в них они были похожи на простых деревенских баб. Итальянцы не стали нас прогонять, и мы спокойно глазели себе на партизан. Затем приехал фургон с фрицами, и нас вытурили с площади. Виа, виа! – кричали нам. И мы ушли. Вот так я впервые увидела живых партизан. В карцере их держали на кухне. Туда набилось, наверное, добрых человек двадцать, – как они там поместились, ума не приложу. Это интересовало меня больше

всего, ну, и шинели, в которые были одеты женщины. Я бы ни в жизнь не надела шинель, даже если бы задубела от холода, даже если бы так надо было сделать не ради одной, а ради десяти родин. Я уже с тех пор была кокеткой, хотя и не подозревала об этом. Потому-то мужчины и не давали мне всю жизнь прохода, а некоторые не дают и до сих пор.

Все же как в мужчинах, в партизанах я очень разочаровалась. Все женщины тайком шептались о них, и я навоображала их себе похожими на капитана Бессмертие¹⁹ из разбойничьих романов, что нам читала мадемуазель Саломея: силачи под три метра, здоровенные, с победоносной улыбкой на губах, ну вылитые американские киноактеры из фильмов о войне, об освобождении иностранных государств, которые крутили в послевоенное время. Мадемуазель Саломея боготворила партизан; конечно, скажешь ты, она же из семьи левых. Мы собирались в доме семьи Тиритомба, это до того, как они уехали в турне, и шутками притупляли чувство голода. Мать Афродиты приносила свое кружево, моя – одежду для починки, а тетушка Канелло – какие-нибудь оладьи из нута для угощения. И все обсуждали, что сказал по радио мистер Черчилль. Тетушка Андриана Тиритомба вязала фуфайку из распущенной шерстяной одежды. Они вязали тогда фуфайку партизана, это была идея тетушки Канелло, как во время албанской оккупации вязали фуфайку воина.

¹⁹ *Капитан Бессмертие* – герой греческого разбойничьего романа, по образу напоминающий известного Робин Гуда.

Мадемуазель Саломея вязала кальсоны. И вот однажды она развернула их, чтобы измерить: смотрим, а у нее там нечто два метра длиной, а посерединке настоящий мешок с голову ребенка! Совсем рехнулась, – воскликнула тетушка Канелло, – сюда трое человек поместятся! Ты так наушничает, потому что ты монархистка, – бросила ей в ответ Саломея, – и хочешь смешать с грязью партизанское движение. Да эти ваши повстанцы – зверюги, вы их за кого считаете? – вмешалась тетушка Андриана, тыча пальцем в мешок, вихляющийся между штанин. Голодный, как говорится, о хлебе мечтает. И из-за этого они тогда разругались в ключья. Я же с тех пор стала считать, что партизаны были выше ростом, чем обычные люди, и поэтому так разочаровалась в тот вечер, когда впервые увидела их живьем на кухне карцера.

Как только мы ушли из карцера, меня начало клонить в сон, и я пошла домой и потому не видела, как умерла Афродита. Тогда еще пришел синьор Витторио, но я сказала ему, что матери дома нет, и он ушел восвояси. Потом я помыла посуду и подмела пол (тогда снова начали проклевываться ростки). А в уголке с птичкой земля будто бы начала проваливаться. Словно пичужка все глубже и глубже уходила в ее недра.

Я была только на похоронах, да и то не очень долго, рядом были поминки, и мы с Фанисом со всех ног бросились туда есть коливо.

Но мы все вместе были на вылазке примерно за месяц до

смерти Афродиты.

Примерно за месяц до смерти Афродита сказала матери: возьми меня с собой на вылазку. Увидеть море.

От Бастиона до порта было одиннадцать километров езды на поезде, огромное расстояние для того времени, ни в какое сравнение с сегодняшними Афинами и их троллейбусами. Я уже видела море: до войны в начальной школе мы каждый день ездили в наш порт. А Афродита – не видела никогда, до войны она только все собиралась поехать, но всякий раз с ней что-то случалось. А во время оккупации какое уж там море. Немцы реквизировали у нас портовый поезд, и им разрешалось пользоваться только спекулянтам черного рынка. Так что Афродита лишь любовалась морем с горки, чуть подалее за церковью, куда мы водили на выгул нашу покойную птичку. И вот за месяц до смерти она сказала: мама, отвези меня к морю.

Ее мать, тетушка Фани, уже давно заперла ставни на засов. Якобы чтобы не впускать холод. Но в глубине души она готовила дом к трауру. Нужно сообщить отцу ребенка, – велела она мне передать тетушке Канелло. Только тогда я узнала, что отец Афродиты ушел в партизанское движение, но они это скрывали. Тетушка Канелло заставила меня поклясться на иконах, что я не скажу об этом своей матери, из-за синьора Витторио, конечно же. Она также рассказала, что тетушка Фани никогда не ладила с мужем и что брак у них был несчастливый. А матери больной велела передать: Фани,

одумайся, если твой муж что-нибудь узнает и вернется, его тут же схватят, он же в списках.

Однажды тетушка Канелло взяла официальный выходной, оставила изумленных детей и мужа и отправилась к своей больной матери. (Эта старая вошь в свои девяносто шесть заигрывала со всеми вплоть до собственных внуков. До последнего вздоха тетка Марика вела себя как истинная кокетка. Да и что уж греха таить, признаю, она была красавица, хоть и обругала меня в тот раз, когда я пришла к ней в дом с Альфио. Пусть земля ей будет пухом.)

Тетушка Фани заперла на засов и входную дверь, потому что голод тогда сделался совсем невыносимым. А она была женщиной семейной и не выходила ни просить милостыню, ни за пайками. Кроме того, у ее девочки обострилась чахотка. Это длилось почти целый месяц, и я даже забыла об их существовании: дом закрыт и ни звука. Только по ночам я слышала какой-то голос, скорее напоминающий волчий вой. Это тетушка Фани выла во сне от голода. Вместо того чтобы видеть сны про еду, дабы притупить чувство голода, она выла. Это мне рассказала уже после войны тетушка Канелло. Я услышала вой (понимаешь, если ты недоедаешь, то и спишь не крепко) и спросила: мама, что это такое? А та ответила только: спи, должно быть, это шакал забрел в город или немцы кого-то пытаются в комендатуре. (Об итальянцах она плохого не говорила.)

И вот одним апрельским утром тетушка Фани победонос-

но распахнула ставни и радостно крикнула: соседки, – а глаза все заплаканы, – пойдёмте к морю. Все кругом пооткрывали балконы, но тетушка Фани в первую очередь пришла к нам на первый этаж. Моей бедняжке-матери тогда очень от этого сделалось приятно. Асимина, сказала ей мать Афродиты, совсем уж у моей дитятки не осталось крови, и уж не боится она боле вас заразить. Она хочет увидеть море.

И мы все вышли. Сколько нас? – спросила одна женщина. Мы насчитали одиннадцать человек, и меня тоже посчитали вместе со взрослыми женщинами. Пошел с нами и Фанис. Так как поезд был захвачен немцами, к порту (сейчас вспомнила, что его называли «Подветренный уголок») мы пошли пешком. Чтобы Афродита поприветствовала море и прости-лась с ним и сбылась ее довоенная мечта.

Входная дверь открылась, и соседки вчетвером спустили сидящую в кресле Афродиту, и мы двинулись в путь. Дверь мы не закрыли, оставили открытой, чтобы проветрить дом.

Афродита уменьшилась в росте. Грудь ушла, ноги стали короче, она снова стала совсем малышкой. Она была похожа на двенадцатилетнего мальчика, больного малярией. Ее тело, выросшее и расправившееся, будто бы что-то увидело, испугалось и снова захотело стать маленьким.

И мы все одиннадцать женщин понесли кресло с сидящей в нем девочкой: одиннадцать километров пути до «Подветренного уголка». Через каждые сто шагов мы менялись по четверкам, по дороге деревенские палили по нам дробью, –

как бы мы не стащили у них свисающую из-за заборов неспелую алычу или виноградную лозу. Но Фанис исхитрился и украл кочан салата.

Я тоже несколько раз несла кресло с тремя другими женщинами. Думаю, в этот день, во время этого путешествия я удостоилась чести стать женщиной. Все другие были старше меня, но ни одна не сказала, что я еще ребенок или слишком хилая, ни одна не испугалась, как бы я вдруг не устала. Взрослые женщины не сделали мне ни одной поправки. И вот так по пути к «Подветренному уголку» из ребенка я превратилась во взрослую, стала женщиной.

Мы постелили покрывало на песке. Афродита хотела сидеть прямо рядом с волнами. Мы поставили кресло, было прохладно и свежо, мы все дрожали. Волна обрызгала Афродиту, но ее кожа никак на это не отреагировала: ни одной мурашки не пробежало. Она была как бесхозная собственность, как багаж, который принесли погрузить на утренний корабль и так и забыли на берегу. Именно так я поняла, что Афродита умирает. Потому что она не дрожала. И даром, что попадали на нее брызги и соль морских волн. Афродита ни на что не обращала внимания и только улыбалась своей поблекшей улыбкой.

Мы расстелили подстилки, съели изюм и алычу, пожаренную с вареным суслом. Афродита совсем не хотела есть, она держала в кулаке два зернышка изюма. У нее уже месяц нет аппетита, сказала ее мать. Единственный плюс от постоян-

ного вкуса крови во рту – она перестала чувствовать голод. Остальные поели, а Афродита все смотрела на море, сжимая два зернышка изюма. Она грелась на солнце, глядя на море и накрыв покрывалом ноги, что совсем стали похожи на детские. А после полудня внезапно крикнула: «Ура!» Один раз. И затихла.

По пути назад мы всё чаще менялись у кресла. Мы голодали уже много месяцев, и сил у нас было немного. Ни одна из нас даже не вспотела, потому что в теле не было ни одной лишней капельки пота.

И когда мы остановились в Иремеоне набрать съедобной травы-хорты, набежали облака, и небо у близлежащей горы стало ярко-красного цвета, а затем совсем стемнело. Фанис сидел рядом с Афродитой, он не умел отличать хорту от другой травы, что с него возьмешь, мужчина. Он все только радовался, услышал, что мы на вылазке, и твердил без умолку: это самый настоящий праздник! Он сел рядом с Афродитой и спросил о том, что не давало ему покоя: Афродита, почему ты сказала, что подхватила болезнь? Афродита, что такое болезнь? Он всегда был очень добрым и наивным. И тогда, кажется, Афродита смирилась с тем, что умирает, и ответила: болезнь, дорогой мой Фанис, – это маленькая осиротевшая и кровожадная девочка, которой всегда холодно. И как только она находит сговорчивого человека, пока он беззащитно спит, – вьет у него в груди гнездо, чтобы там согреться. Потом высасывает из человека все силы и больше

уже не уходит.

Домой мы пришли уже к вечеру. А через пятнадцать дней Афродита умерла от обострения чахотки. На ее могилу поставили небольшой бумажный флажок – поклон от ее отца. Позднее, когда партизаны освободили Бастион, отец вернулся и поставил ей настоящий флаг, полотняный. Спустя год его арестовали, во время так называемых Декабрьских событий, и убили. А его жена, тетушка Фани, до сих пор в добром здравии, она сейчас тоже живет в Афинах.

Между нами говоря, я никогда не понимала всех этих геройств. Я все спрашиваю: что было бы если бы мы тогда позволили немцам пройти через наше отечество и, не мешая, позволили бы им сделать свое дело? Разве не было бы так лучше для нас? Разве не избежали бы мы оккупации и голода? И что, собственно, мы выиграли – и наши семьи и наш народ, когда мы отправлялись на фронт в Албанию и шли понапрасну все эти рубахи? Что-то я не слышала, чтобы над народами, не оказавшими немцам сопротивления, кто-то сейчас смеялся. Разве только нас надул этот треклятый Черчилль, будь прокляты его останки? Я неустанно вопрошаю: что мы получили с этим так называемым освобождением? Плевок в лицо – вот что! На деньги плана Маршалла мы просто заново отстроили «Бордель Мандилы» в Бастионе, центр игры на бузуки в Афинах, улицу Сингру и центр пения «Трезубец». Говорят, это было первое здание, которое построили в Греции на американские деньги Маршалла, во

время правления Цалдариса²⁰.

Я сказала это одному антрепренеру, и он выгнал меня прямо посреди турне. Он был гомиком, а вдобавок еще и патриотом, – можно подумать, я не патриотка. Конечно, будь я красивым мальчиком, бьюсь об заклад, он бы меня не вышвырнул на пути в Этолико: я не удержалась и высказала ему это, и он буквально взорвался от злости.

Спустя три дня после похорон Афродиты вернулась тетушка Канелло с ребенком на руках, он был совсем крошка (и сорока дней не исполнилось). Все так и ахнули, а отец Динос обругал ее на чем свет стоит. А та ему: не скабрзничай, лучше покрести мне ребенка, наречем его Аресом. Именем языческого бога – только через мой труп! – воскликнул он, весь дрожа от ярости, но, в конце концов, таки крестил ребенка Аресом в надлежащий срок и без пререканий. Мы думали, что тетушка Канелло навещала больную мать. Мать жива-здорова, не сглазь, дай ей дожить до освобождения, сказала Канелло. А ребенок – моей сестры. (А мать ее, тетка Марика, и впрямь дожила и до освобождения, и до конкурса красоты, и до диктатуры, живучая старушенция!)

И в самом деле ее сестра-партизанка была беременна и, в довершение ко всему, на последнем месяце. Муж спрятал ее в каком-то загоне, не тащить же ее на сносях с отрядом

²⁰ *Константинос Цалдарис* (1884–1970) – греческий политик, дважды премьер-министр Греции в период 1946–1947 гг. Имя Цалдариса связано с началом Гражданской войны в Греции (1946–1949) и восстановлением монархии (сентябрь 1946).

в горы и в набеги, к тому же в боях от нее никакого проку не было. И ко всему прочему, капитан, сказал ему кто-то из отряда, она пополнела, нас с ней на раз-два засекут!

Потому они и вызвали тетушку Канелло. Та вся укуталась, чтобы походить на беременную, миновала осаду и пришла к своей такой же полоумной сестре (ну просто два сапога пара!). На всякий случай муж оставил ей ружье и несколько гранат, случись что. Тетушка Канелло ловко перерезала сестре пуповину и, дабы отпраздновать рождение мальчика, бросила в седловину гранату. Все животные с перепугу разбежались кто куда, так что пришлось их снова загонять обратно в стойло. В загоне я высасывала молоко, как самый настоящий уж, сказала нам тетушка Канелло, потому что кормила ребенка. Пей, мой маленький партизан, приговаривала она, распахивала одежду и прижимала мальчика к соску. У тетушки Канелло всегда было молоко, и она постоянно сцеживала; думаю, это оттого, что она так много раз рожала. Как бы там ни было, малыша она кормила до самого освобождения. Сейчас он уже скоро выйдет на пенсию, красивый мужчина, моряк торгового флота. Но левый, черт его дерит.

Женщины тогда, так повелось еще до войны, кормили ребенка на лестнице у двери. Доставали грудь прямо на улице, и ни одного супруга это не оскорбляло. Так делали, конечно, только женщины простого сословия. Однако во всех других делах нравственности им было не занимать. Но иногда доходило и до рукоприкладства: если какой-нибудь незнако-

мец засматривался на кормящую женщину, ее муж (коли был мужчинка хиленький) колотил что было сил свою женушку, а уж коли крепкого сложения – того, кто на его ненаглядную позарился. Хотя во время оккупации мужчины не глазели на кормящую мать, по крайней мере местные. Меня же с тринадцати лет пожирала глазами. Двое или трое даже пригласили в школу танцев. И думать забудь, я тебе ноги повыдираю, сказала тетушка Канелло, когда я спросила у нее совета (со своей матерью я такие щекотливые темы не обсуждала, потому что она считала себя предательницей и женщиной распутной из-за того, что к ней приходили итальянцы).

Школа танцев располагалась в здании бывшего дровяного склада. Аптекарь, господин Патрис, что снимал квартиру наверху, считал эту школу своим личным позором: он был женат на француженке, и ее не очень-то радушно принимали в хороших кругах Бастиона. Эта школа танцев была исключительно для мужчин. Матери из хороших семей отправляли туда своих сыновей обучаться светским манерам. Девочек учили танцам сами мамы или нанимали для этого домашнего учителя танцев. Господин Манолицис, как правило, учил танцевать танго, фокстрот, вальс, румбу и вальс-сомнение, а после освобождения начал преподавать еще и свинг. И этот очень гибкий женатый мужчина невысокого роста надевал высокие каблуки и сам же танцевал и за даму! Он всегда любезно приветствовал нас по пути в церковь. После десяти уроков продвинутые ученики танцевали друг с другом, а

господин Манолицис принимал новичков. Когда курс заканчивался, ученики не покидали школу, но приходили каждый вечер в надежде потанцевать с настоящей дамой, а не со своим товарищем.

Впрочем, некоторые женщины туда все же ходили. И это навсегда марало их доброе имя, ну, или, по крайней мере, до свадьбы. Потому-то женщины и были там редким явлением. Поздно вечером приходили взрослые мужчины и танцевали между собой. Мужчины и юноши по очереди танцевали за даму, и так не было задето ничье мужское самолюбие. Говорят, что некоторые ученики средней школы там даже курили.

Об этом судачили взрослые женщины на наших посиделках у тетушки Канелло. Мы сидели кружком, это еще такая довоенная привычка – собираться вокруг мангала. Только сейчас мы сидели кружком, а посередине – пустота, где теперь сыщешь мангал. Приходила и мать Афродиты. Она всегда приносила свое вязание, это ее вечное кружево для свадебных нарядов. После освобождения у нее пошли и покупательницы, и все то, что связала во время оккупации для своей дочери, она продала втридорога. У нее купил кружево даже какой-то английский офицер.

Мы сидели вокруг несуществующего мангала, каждая с покрывалом на коленях, чтобы согреться. И чтобы не сверкать нашими прелестями, – шутила тетушка Канелло. Но подобных шуточек и других каламбуров она избегала, когда приходила моя мать. Канелло с рождения была таким

джентльменом-самоучкой. Она переводила разговор на общественную жизнь Бастиона, на политику. Хотя бы, говорила она, мы избавились от этих мерзавцев королей. Но как только мы победим, англичане снова притащат их обратно и в Греции опять вспыхнет Соппротивление. Тогда моя мать не сдержалась и возразила: не может быть Греция без короля.

На сорокоуст по моей матери я узнала от тетушки Канелло, что, когда мать была с первым своим итальянцем, синьором Альфио, и пошла на исповедь к отцу Диносу, тот сказал Канелло, что королевская семья – это главное испытание, которое Бог послал моей матери. (Как видишь, отец Динос был первый балабол в нашем квартале, и если хотелось, чтобы твои секреты стали всеобщим достоянием, можно было просто пойти к нему на исповедь. Пусть себе сплетничает, что с него взять.) Моя мать была монархисткой. Она верила, что антигитлеровская коалиция победит и вернет Греции ее королевский венец. А испытание ее состояло в том, как сказал священник, что она согрешила с врагом. И как тут жить предательнице и прелюбодейке в одной стране с благочестивыми и славными королями? Не терзай себя, Асимины, сказал ей сумасбродный поп, иначе ты бы не смогла спасти своих детей. И я бы на твоём месте стал продажной женщиной. Ты его только послушай, продажной женщиной! И это ей сказал любовник Риты, этот поп-прелюбодей. И как сказала тетушка Канелло, моя мать с тех пор была неутешна. Она всегда называла себя предательницей, но уж чтобы про-

дажной женщиной – у нее и в мыслях не было. Но когда это сказал сам священник, она совсем перестала себя уважать.

Я тогда, конечно, не знала обо всем этом, когда мы говорили о королях, сидя вокруг воображаемого мангала. Я думала только о том, что до войны мы клали на угли алюминиевую бумагу, чтобы они не прогорели слишком быстро. О политических предпочтениях я тогда и думать не думала.

Приличное общество Бастиона не признавало партизан. Спустя год оккупации почти все порядочные дома города открыли свои салоны итальянцам. Некоторые пускали и немцев, но те были нелюдимы и не заходили в дома рабов. Но итальянцы, что за дивная нация! Откроешь им двери – и они всегда заходили с большим удовольствием. Даже снизошли до нашего дома с земляным полом. Но ты скажешь, что сеньор Альфио и Витторио – люди не первого сорта, не под стать тем, что часто заходили в дома нашего высшего общества.

Все эти дома не поддерживали движение Сопротивления. Это я знала точно со слов Канелло, потом это подтвердила и Саломея. Потому что на некоторые посиделки хозяева дома приглашали семью Тиритомба играть итальянцам какую-нибудь миниатюрку. Они всегда смеялись, хотя и не понимали языка, и все время хлопали – очень учтивый народ. Однажды мадемуазель Саломея взяла меня с собой, чтобы я тоже поучаствовала в сценке. У тебя нет слов в миниатюре, просто стой, а я тебя толкну на Андриану, а она – обратно на

меня, не бойся.

А чего мне бояться? Итальянца я уже видела. Я сыграла в миниатюрке и могу сказать, что с того вечера твердо убедилась в том, что рождена для сцены. А уж про то, что там была еда прямо как в кино, я вообще молчу. И как только хозяйева дома спускались по лестнице провожать иностранцев, труппа тотчас набрасывалась на полупустые тарелки. Жри, несчастная, сказала мне тетушка Андриана, только не замасли мне юбку – или я тебя придушу. На меня надели средневековое платье, прямо как в «Сельской чести». Это была театральная одежда, купленная у оперной труппы. Я заправила свою маечку в трусы, завязала тесемкой (тогда резинок еще не было) и завернула в лиф все, что только успела. Никто и не заметил. Все, что успела стащить, я отнесла домой, чтобы поели и домашние.

Все те хозяйева, что приглашали итальянцев, поносили партизан. Погодите, настанет день, и они возьмут власть в свои руки, говорила тетушка Канелло, партизаны придут в город. А по запрещенным радиоприемникам все только и передавали о здоровье королевской семьи, что они в безопасности и находятся где-то в Африке. Неужто нет у них там, в этой Африке, ни одного людоеда? Пусть сделает хоть одно богоугодное дело и сожрет их, говорила Канелло, а у нас от этих ее слов волосы вставали дыбом. Я, признаюсь, демократка. Но я не против монархов. Те, кто изгнал тогда народным голосованием нашу королевскую семью, поступил в

высшей степени грубо. С тех пор без королей я чувствую себя так, словно вышла на сцену без трусов. Мне всегда хочется за них голосовать, на каждом выборах, будь то на парламентских или муниципальных. Какое бы имя не было написано в избирательном бюллетене, я выбираю одно, без разницы из какой партии, немного смачиваю и поверх пишу: «Голосую за монархов. Рарау». Свою избирательную книжку я отдала нашему депутату, с тех пор как он на свои деньги перевез нас в Афины. Книжка матери тоже у него. Бедняжка, она до сих пор голосует с того света.

Уж извините. И патриотизм в чем-то хорош, но очень сейчас в моде все эти левые штучки: профсоюзы и движения, я хожу и на демонстрации, и на забастовки, но я требую королей. С тех пор как их изгнали – не в радость мне Светлое Воскресение, хоть на Пасху и делают денежные выплаты. До времен Республики я ходила на Пасху только в Кафедральный собор. Зажигала свечу и говорила себе, что от этого же самого огня зажег свечу и король. И маршал. Потом я возвращалась в свою двушку, зажигала лампадку и поддерживала огонь до следующей Пасхи, хоть я и неверующая. Сейчас я перестала это делать. Не понимаю, как мы можем претендовать на звание европейцев, если у нас нет королей.

Сейчас я больше не хожу на Пасху в Кафедральный собор. Я не очень верующая: верю, но до определенной меры. Свою мать я считала верующей, потому что она никогда не говорила о Боге. Однажды вечером, когда она сказала нам

спрятаться в церкви, чтобы не промокнуть, во время визита синьора Альфио, я сказала ей, что церковь пугает меня: без света все эти святые в алтаре казались мне злыми, будто бы варварами. И тогда мать сказала мне: не бойся Бога, Рубиночка. Не бойся его, его не существует. Возьми Фаниса, укройтесь там внутри, чтобы ни простудиться. Только затем и нужна церковь. И еще ради антидора, который вам каждое воскресенье подает священник. Поэтому бери брата и сиди с ним внутри, пока я не закончу. В церкви не нужно бояться, там никого нет. Бояться нужно дома.

Вот оно, единственное наставление моей матери.

В последние дни здесь, в Афинах, поняв, что осталось ей совсем немного, я захотела ее причастить, но тайком, чтобы она ничего не заподозрила. Мама, вы не против, если я позову священника прочесть вам молитву? – спросила я, а она только повернулась на бок и уставилась на банку с лекарствами.

Лишь однажды довелось мне от нее слышать: «Мать Божья!» В тот день, когда немцы сломали нашему Фанису ручку. Это было до нашего знакомства с синьором Альфио. Весь район тогда, помню, от голода на стену лез. И тут-то тетушка Фани, мама Афродиты, и принесла новость, что склад армии Льякопулоса битком набит картошкой. И как только все успели об этом узнать и собраться на маленькой площади перед складом, чуть поодаль от церкви? Было нас, наверное, человек пятьдесят. Воскресенье, полдень. Некоторые взяли

кирки – ломать дверь. Но тут появились немцы, им сообщил сам Льякопулос. Толпа угрожала его имуществу, и немцы пришли навести порядок. Назад, сказала нам Канелло. Она держала кирку наготове, когда послышался звук грузовика. Назад, там немцы! А ну назад. Они не тормозят, они нас всех порешат.

Мы все прижались к противоположной стене, грузовик остановился перед домом. Господин Льякопулос в галстук и шляпе подошел к окну и непонимающе смотрел на нас. Болван!

И тут немцы развернули на нас пулемет. Но мы не испугались – чего нам бояться? Подумаешь, большое дело, они на нас пулеметы каждый день направляли. Затем из грузовика вышли двое, сломали замок и открыли склад. Тогда понял господин Льякопулос, что сам вырыл себе могилу. Немцы сломали замок, смотрим: а там внутри куча мешков. Они начали перетаскивать их в свой грузовик. С господином Льякопулосом, как только он все это увидел, случился припадок. Дочери под руки увели его от окна, одна даже поливала его водой.

– У, треклятый, не сожрем мы твою картошку, – крикнула Канелло, – но и не сбуть ее тебе на черном рынке, спекулянт несчастный!

– Придержи язык, мадам, – крикнула ей в ответ одна из дочерей Льякопулоса. – Иначе я доложу о тебе в комендатуру!

– Давай-давай, овца тупая, – гаркнула Канелло. – Партизаны уже на подходе. Я заставлю их спалить твой дом и вас вместе с ним. Да я и сама твой дом спалю, уж я знаю как! (И их дом на самом деле сгорел, когда в город вошли партизаны. Но то было дело случая.)

И вот немцы опустошили склад. Конфискация. Мы стоим не шелохнемся, а слюнки-то так и текут. Пусть пулями ляжет им эта картошка в желудке и забьет задницу, выкрикнула мадемуазель Саломея, но на всякий случай не очень громко.

Никто не трогался с места. У двери Льякопулоса – грузовик. На противоположной стороне мы – единое тело. А посередине маленькой площади – пустота. С немцами мы якшаться не хотели. Мы хотели только их смерти. О немцах я стараюсь не думать: потом не могу заснуть и вся так и пылаю от злости – до сих пор.

Из одного мешка, что тащили двое немцев, выкатились три картошины. И мы, однородная масса у стены, все застонали в один голос. Бабы, всем стоять на месте, сказал тогда какой-то мужчина. Фриц с пулеметом в грузовике улыбнулся нам, указывая дулом на упавшую картошину. Никому не улыбаться и не двигаться, снова сказал мужчина. Остальные немцы перестали таскать мешки и уставились на нас. Они ждали удобного момента. Мне казалось, я слышу наше дыхание. Они всю картошку передают своими колесами, чуть только сдадут назад, сказала тетушка Фани. И глазом не моргнут, свиньи!

Немцы стояли неподвижно и улыбались. Мы тоже застыли как вкопанные.

И тогда Фанис, бедняжечка мой, отделился от толпы и двинулся в центр площади. Он был тощий, как цыпленок. Мы все так и остолбенели. Фанис, слабо улыбаясь, бросил взгляд на нашу мать и подобрался к картофелинам. И когда он взял их все три себе в ладошку, мы все стояли, боясь шелохнуться. Немец, улыбаясь во всю пасть, подлетел к нему с пулеметом и прикладом ударил по руке. Картофелины рассыпались, а ему хоть бы что. Снова бросился их подбирать. Хотя бы одну! Тогда приклад снова пришелся Фанису по пальцам. Немец бил по очереди по каждому пальцу, чтобы мальчик раскрыл ладонь. Мне казалось, я слышала, как ломаются его косточки, но, когда я рассказываю об этом, мне говорят, что я совсем из ума выжила. Ребенок громко заплакал. А мы всей толпой уже были готовы двинуться с места. Но тут трое других немцев развернули на нас свое оружие, и я услышала, что они его заряжают. Мы снова застыли на месте, одна масса. Солдат держал нас на прицеле пулемета. А ребенок посреди площади подпрыгивал от боли, он бился как подбитая курица, которую не убили с первого удара. Его рука была вывернута, кажется, до самого локтя. Немцы снова принялись за работу. Трое наших мужчин хотели бы-ло забрать ребенка, но немцы снова взяли нас на прицел, и наши отошли назад. А мальчик так и бился от боли посередине площади.

Тогда из толпы выступила тетушка Канелло и направилась к нашему Фанису. У моей матери закружилась голова, глаза закатились. Матерь Божья, его ручка! – воскликнула она. Я подхватила ее, и она лежала наполовину у меня на ногах, наполовину прямо на земле. Я изо всех сил старалась удержать ее, чтобы она не соскользнула, но, в конце концов, она вся так и осела на землю. Солдаты снова взяли за оружие и направили его на нас. Но тетушка Канелло невозмутимой поступью императора шла к ребенку. Она села на колени и взяла его на руки. На ней были черные чулки, тогда мы называли их «бароле», их еще в довоенные времена покупали бедняки, чтобы надевать на покойников, но во время оккупации кто будет исполнять прихоти мертвых, – тогда и хоронили-то прямо за дверью. Потому торговцы отдавали эти чулки почти задаром, все равно бесполезный товар. Как только Канелло присела на землю и взяла ребенка на руки, помню, чулки порвались у нее прямо на коленях и пошли стрелками до самых лодыжек. Тогда к ней подошел немец с револьвером. Я помню весь их разговор слово в слово.

Немец: Твой ребенок?

Тетушка Канелло: Да, мой ребенок.

Немец: Он вор. Наказать.

Тогда немец отошел и одну за другой начал давить картофелины.

Тетушка Канелло сидела, упершись одним коленом в щебенку, а на другом держала головку ребенка. Из-под подвязки

было видно голое тело, белое-белое, поясов для чулок у нас тогда не было, они появились уже после гражданской войны. Ее бедро под подвязкой было белым как снег, я помню это как сейчас. Я хотела помочь моему братику, но была очень напугана и к тому же поддерживала голову матери.

А между тем немец раздавил и третью картофелину. Тогда тетушка Канелло потихоньку начала подниматься на ноги и тащить ребенка к нам, грекам. Тащила она, конечно, как могла. Что с нее взять, оголодавшая женщина. Ко всему прочему, она тогда аж до пяти лет кормила грудью своих детей, когда дома не было хлеба. И тогда взяла ее злость, и она сказала врагу.

– Вор? – спросила она чужака. – И я тоже вор! И они – показывая на нас, греков, – все воры. Все греки воры! А вы кто такие? Вы нация? Вы раса! Я обосру вашу родину! Заплюю ваш флаг! Станцую на могиле ваших детей! Пусть мы воры. Но зато мы не строили ни Дахау, ни Берген-Бельзен!

Тетушка Канелло была женщиной просвещенной, она знала все это. А у немца уже не должно было остаться больше греческих слов в арсенале.

Тогда женщина наконец подняла ребенка на руки и пошла, вся пылая от гнева. Она повернулась к немцу спиной словно уставшая, а он поднял оружие и крикнул: Альт! Но тетушка Канелло даже не удосужилась обернуться и посмотреть на него. Она говорила, глядя на нас.

– Будешь в меня стрелять? – спросила она. – У тебя кишка

тонка. Вы знаете только, как женщин бить. Но трахать их вы НЕ умеете.

Она замерла в ожидании. Ждали и немцы. Ждали и мы. Тогда она решительно повернулась к немцу (черт, я от страха тогда ног не чувствовала, сказала она мне много лет спустя) и начала поносить его на чем свет стоит.

– Что, не выстрелишь? Давай стреляй, да и дело с концом! Я уже три дня не ела, и дети меня хают, что я их не кормлю. И Черчилль по радиоприемнику нам только зубы заговаривает, – убейте меня, я на том свете хоть отдохну, мне уже на все плевать. Мы в доме уже третий день во рту крошки не держали. А у вас дома женушки уплетают в обе щеки, хотя они не стоят даже того, чтобы их на ваших же кладбищах хоронили! Да чтоб ваши кости стервятники сожрали! Ваши жены едят и делают абажуры из человеческой кожи! Давай стреляй, ока-янный! И вы стреляйте, чего встали! – крикнула она другим немцам, а у них у всех рука на спусковом крючке. – Стреляйте, содомиты! Вы даже между собой сношались, чтобы о гречанок не замараться! Стреляйте! Но придет день, и вы за это заплатите! Москвич уже на подходе – слышали эту песню²¹? Придет день, и вы попомните мои слова!

– К сожалению, моя дорогая тетушка Канелло, – сказала я ей на панихиде матери, когда мы разговаривали с ней о прошлом, – к сожалению, так и не искупили немцы перед нами вину. Ни тогда, ни после. А мы с них и не спрашиваем.

²¹ Греческая народная песня.

Разве теперь они не самые ценные наши союзники? И они снисходят до нас, берут на работу наших мужчин, а мы стоим перед ними на задних лапках в Организации Объединенных Наций! Они теперь выше нас, хотя это мы их победили.

– Где же мы победили, Рубиночка, – спросила тетушка Канелло. – Где же мы, несчастные, победили? – И тут она разрыдалась. А из-за смерти моей матери даже слезинки не пролила. До этого я видела, как она плачет только на похоронах своего мужа. Ну да ладно, Бог с ней, не будем об этом.

Тетушка Канелло повернулась спиной к фрицу и двинулась в нашу сторону.

Немец не выстрелил. А между тем обо всем этом как-то узнал отец Динос. И теперь он стремительно приближался к площади. Он ушел прямо посреди венчания, потому был облачен в ризу и грозно размахивал епитрахилью. Остановился и молча стоял. Тетушка Канелло подошла ко мне: вставай, Асими́на, сказала она моей матери, пойдем посмотрим ребенку руку, сейчас не время падать в обмороки. И мы пошли к ней домой. Мы с Фанисом шли позади, я поддерживала его сломанную руку. Мы поднялись в квартиру, разорвали какую-то грубую ткань и закрепили перелом, бедняжка мой, он даже слова не проронил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.